К-56

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

Воспоминания детства

и

автобиографические очерки

1-30-2-05

J180300

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

21/XI-51
7208-20
13/I-52
7118-6
25/II М-15В.
15/I-53
Н1826
22/V-54 П

8/IX-54
П-466
19/2-54 г
Ат-252-8
13/III П520
1/IV-54
И169-4

3/V-54 г.
С-204-15

Кол. пред. выдач.
Зак. 2802

9/IX-54 М521-14

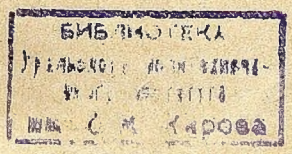
Т

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
МЕМУАРЫ

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

Воспоминания детства и автобиографические очерки

Ф180300



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
1945

51 (022 Ковалевск.) + 92 (ковалевск.)

Под общей редакцией Комиссии АН СССР по изданию научно-популярной литературы

Председатель Комиссии академик *В. Л. КОМАРОВ*
Зам. председателя академик *С. И. ВАВИЛОВ*
Зам. председателя чл.-корр. АН СССР *П. Ф. ЮДИН*

Ответственный редактор
академик С. Л. СОБОЛЕВ

*

Редакция и примечания
С. Я. ШТРАЙХА

С. В. Ковалевская (1887 г.)

ОТ РЕДАКТОРА

Жизнь и деятельность знаменитой русской женщины-математика Софьи Васильевны Ковалевской представляет интерес в двух планах: научно-исследовательском и культурно-историческом. Талантливая и разносторонне одаренная представительница 60—70-х годов XIX столетия, первая женщина, добившаяся официального признания как ученый, Софья Васильевна полнее и ярче многих других выдающихся женщин своего времени отразила взлеты и падения тогдашней русской интеллигенции.

Эпоха уничтожения крепостного права и перехода страны от феодально-крепостнического хозяйства к товарно-капиталистическому; движение 60—70-х годов с его просветительством и хождением в народ; думы и помыслы тогдашней молодежи, ее увлечение идеями материализма и выросший на этой почве своеобразный салонный нигилизм; широко практиковавшаяся система фиктивных браков; утопический социализм, призванный осуществить земной рай мирным, словесным убеждением и примером безобидного личного самоусовершенствования; безудержное увлечение спекуляциями старшего поколения поместного дворянства, пополнявшего ряды русской торгово-промышленной буржуазии,— все это нашло то или иное отражение в «Воспоминаниях детства» С. В. Ковалевской, в ее переписке и других материалах к ее биографии.

Переписка всех членов семьи Ковалевских: Софьи Васильевны, знаменитых братьев Александра (эмбриолога) и Владимира (палеонтолога), представляет значительный интерес во всей своей совокупности. Для издания ее в соответственном отделении Академии Наук СССР сделаны необходимые приготовления. Там будут освещены ученые интересы и труды братьев Ковалевских, занимающих видное место в истории борьбы за науку в России. Настоящее издание осуществляется в плане общественно-исторической и научной биографии С. В. Ковалевской.

Из литературного наследия С. В. Ковалевской самыми ценными в историческом отношении являются «Воспоминания детства». Кроме своего значения как первостепенного документа,

рисующего эпоху так называемого «освобождения крестьян», «Воспоминания детства» представляют большой интерес высокохудожественным описанием взаимоотношений Ф. М. Достоевского с семьей Корвин-Круковских и превосходной — одной из лучших в литературе — характеристикой писателя в эпоху создания «Преступления и наказания». В них — еще несколько ярких и интересных характеристик родных Софьи Васильевны, особенно ее сестры Анны Васильевны, русской писательницы и выдающейся деятельницы Парижской Коммуны 1871 года, а также ее отца — типичного представителя крупнопоместного дворянства.

Первостепенный документ для характеристики самой Софьи Васильевны в годы юности, «Воспоминания» совсем не отражают ее научной деятельности. Этот пробел восполняют автобиографические очерки, письма и дневники Ковалевской. Соответственные выдержки из них помещаются вслед за «Воспоминаниями» (опущены неизбежные в них повторения). Пояснения к этим материалам взяты из статей и отзывов специалистов о математических трудах Софьи Ковалевской. Таким образом, получается возможность выяснить значение Ковалевской в науке.

Текст «Воспоминаний детства» сверен по рукописям автора и дополнен новой главой о Достоевском. Значительная часть приложений и выдержек из писем С. В. и В. О. Ковалевских в примечаниях публикуется впервые. Весь остальной пояснительный материал, систематизированный и расположенный в хронологическом порядке, дополняет автобиографические сведения основного текста. Указатель имен облегчит отыскание лиц, с которыми С. В. Ковалевская находилась в научном и политическом общении. Поясняемые места помечены в тексте цифрами, которые повторяются в примечаниях в конце книги с указанием, в скобках, страницы, к которой они относятся. Подстрочные переводы и другие сноски помечены в тексте звездочками.

Отмечаю с признательностью содействие моей работе со стороны Софьи Владимировны Ковалевской, предоставившей в мое распоряжение свой семейный архив и сделавшей мне ценные указания. Значительную помощь оказали мне также Г. А. Князев, Л. Б. Модзалевский и Л. П. Гроссман. Работа по подготовке архивных материалов к печати выполнена при непосредственном участии моей жены Надежды Владимировны.

С. ШТРАЙХ

Каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

1 1 1 1 1

1. ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ[1]

Хотелось бы мне знать: может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я,— первый проблеск сознательной жизни? Я этого никак не могу. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановить на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я действительно помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже,— мне никогда не удается вызвать ни одного из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня»,— говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: — меня-мол зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк,— говорит он: — когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского»,— сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой, дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За этою первою, отчетливо сохранившеюся в моем воспоминании сценой, следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных, светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты,— ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

811—2

Наши детские кроватки, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезать друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да, я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня тотчас пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка, француженка, не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку! — умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно. каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступления к нашему туалету лежит еще длинный промежуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесаных, начинает угощать нас кофе со сливками и с сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворяется с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment! vous êtes encore en lit, Annette! Il est onze heures. Vous de nouveau en retard pour votre leçon! * — восклицает она гневно.

— Так не можно долго спать! Я будет жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну, и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве, наденет на нас платьице, в котором нередко нехватает нескольких пуговиц,— вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметет пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кроватки одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики,— и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более, что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со множе-

* «Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов! Вы снова опоздали к уроку!» (фр.).

ством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту! — говорит она, нацепляя на себя мамины украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анюта и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось, именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анюта, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, бо́льшими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная, Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать! — говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть? — спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И, действительно, няня усматривает в этом желании пока-

зать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясынька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване, перед круглым столом, и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает снять, а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку Спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое, носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной souffre-douleur *. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю: многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей,— слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне.— Ведь я ее, почитай, одна совсем выняньчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и поняньчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше навострить уши.

---

* Козел отпущения (фр.).

— Не во-время она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полушопотом.— Барин-то наш, почитай, что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику — и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой,— ан нет, вот поди! родилась опять девочка. Барыня так огорчились, что и глядеть на нее не хотели, только уж Фединька их потом утешил[2].

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную,— я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленый зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что, когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания. Вскоре у меня прошла даже и охота, и уменье играть с другими детьми. Я помню, что, когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную к большим, я садилась рядом с няней на диване,

прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор, нет-нет, да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волкоборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — angoisse. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного, у меня вдруг так мучительно заноет сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня.

Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем не верно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты.

Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например, если я, во время прогулки, вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например, до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о какомнибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное увижу этого урода во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя

ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить куклу, няня должна была подымать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анюта, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне в глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменилось, и всему предыдущему настал конец.

2. [МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА]

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении, Палибино, в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эмансипации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведывал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени,— когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик,— в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целость детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем по-

добном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей»,— рассуждала няня,— «теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет — вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной, запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все пропадали. В один прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключавшая в себе рублей сорок, если не больше. Сведение об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозрения, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что и у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется, для няни делом одной секунды.

— А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье? — закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

— Няня, голубушка! Я не виновата, право! — взмолилась Феклуша.— Портниха, Марья Васильевна, вчерась вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

— Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица,— сказала она презрительно: — ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

— Няня, голубушка, не вру я! Ей, ей, это правда! Хоть

сами у нее спросите. Я им вчерась утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую»,— продолжала утверждать Феклуша.

— Ну, ладно, завтра поутру разберем! — решила нянюшка и в ожидании утра заперла Феклушу в темный чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипывания.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная и пользовалась большим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась. Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки», говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но я помню, старшие всегда замечали, что у нее вид очень distingué *,— «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегантность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков герониума, стены были увешены дешевенькими картинками, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы — лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий рассказ: в молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» — спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть. Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

* Благовоспитанной (фр.).

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей, волей-неволей, приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пение, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пение прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?» Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

— Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девчонку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! — сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако Феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

— Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы забыли? Да вчерась же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья,— говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

— Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша,— ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни, и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

— Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься!— сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собою разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но приходила к нам в дом помогать прачке стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

— Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, ужо доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала! — сказала она ей так строго и с таким многознаменательным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась во-свояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит, она и другие вещи воровала»,— говорили все. Общее негодование против Феклуши поэтому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз пошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

— Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девчонке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! — сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

— Что вы, сударыня? Такую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! — говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокойство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

— Призналась наша птичка! — сказала она радостно.

— Ну, а где же краденые вещи? — спросила мама очень естественно.

— Еще не признается, куда их дела, негодница! — ответила няня озабоченным голосом.— Мелет всякую чепуху. Говорит — «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок, другой — может и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное призна-

ние и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а наместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд, за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполнение; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель. Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра — феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и, все не унимаясь, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня, наконец, не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что, все равно, глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные, пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

— Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку,— сказала Александра таинственно, и, оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, она вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

— Где же вы его нашли? — спросила она с любопытством.

— В том-то все и дело — где нашла,— отвечала Александра

протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно наслаждаясь смущением нянюшки.— Садовник наш, Филипп Матвеевич, дали мне свои старые брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек,— произнесла она, наконец, многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым, довольно противным немцем, с рыжими, типическими, четырехугольными баками, но между нашей женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

— Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? — спрашивала она растерянно.— Ведь он и в детскую, почитай, что, никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

— Те, те, те... Так вот оно как! — проговорила она, разводя руками.— Ах ты, смиренница! Ах, негодница!.. Ну, погоди. выведем же мы тебя на чистую воду! — воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уж давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником.

— Ну, а сами посудите,— говорила она няне,— стал ли бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает.

И, действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи, и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматривания за ничего не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у старых женщин и побуждает их с азартом кидаться на рассле-

дование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подобраться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненнейшим образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

— Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! — говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако, в виду того, что она была уже пожилая, болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказа-

лась какая-то кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

— Мне не долго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! — говорила она.

— Дело было совсем не в этом,— пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой.— Ей просто невмоготу было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но, как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

— Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! — умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

— Послушайте,— сказал он ей: — хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому позору — публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощенье и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну, как ей, такой гордячке, повиниться пуб-

лично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это произошло торжественно и публично. Народу собралось много; каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целования руки.

— Я ей и так простила,— говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на повышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы я перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша уже не смела больше возражать и, вся тряслась от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная, как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но лицо ее было такое решительное и злое, что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» — вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась всем телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же из прислуги, которые проведали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумеется, поспе-

шно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная перемена, которая произошла после этого в настроении всей нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низким и черным, что каждому доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

— Конечно, она была виновата,— говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме.— Ну, хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг, на — поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми, руку поцеловать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов один за другими. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось послать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно:

— Для кого вы это, няня?

— Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! — ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась к великой радости моих родителей и зажила у нас в доме попрежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным

ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и старалась не глядеть на нее: мне все чудилось — вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена: мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется Благовещения, я пробегала по коридору мимо комнат Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

— Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко, что, вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

— Что, барышня, видно, совсем меня разлюбили, брезгаете мной! — проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное, ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за

что. После вечернего чая, когда пришла мне пора итти спать, вместо того, чтобы отправиться прямо в спальню, я решилась забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны, так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному, пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою, чистою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного, страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и прежде, чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла»,— говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла все предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна. По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин, на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.

3. [МИСС СМИТ]

С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.

До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считал воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься на саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, приходили иногда с жалобой на нее к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.

Что касается нас, младших детей, то отношения отца к нам ограничивались тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облекался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.

Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, внезапно изменилось. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.

Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда

нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.

Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.

Что еще хуже — за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.

Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, последовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой, и всем достается — и правому, и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду, и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся и ждем — «чем-то все это разрешится?»

Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка и гувернантку англичанку.

Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния[3]. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент.

Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические особенности англо-саксонской расы: прямолинейность, выдержку, уменье всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество над остальными домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и ими объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме[4].

Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery *, в

* Детская (англ.).

которой она могла бы воспитать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и «спустя рукава». Однако благодаря ее замечательной настойчивости она все же, до известной степени, добилась своего.

С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора-два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до Анютиного поведения, что она умывает себе руки.

Но зато она еще с бо́льшим ожесточением сосредоточила все свои заботы на мне, изолируя меня от всех домашних и ограждая меня, как от заразы, от влияния старшей сестры. Этому стремлению к сепаратизму с ее стороны благоприятствовали размеры и устройство нашего деревенского дома, в котором семьи три-четыре свободно могли бы проживать одновременно, вполне не зная друг друга.

Почти весь нижний этаж, за исключением нескольких комнат для прислуги и для случайных гостей, был отведен гувернантке и мне. Верхний этаж, с парадными комнатами, принадлежал маме и Анюте. Федя с гувернером помещались во флигеле, а папин кабинет составлял основание трехэтажной башни и лежал совсем в стороне от остального жилья. Таким образом, те различные элементы, из которых состояла наша семья, имели каждый свои самостоятельные владения и могли, не стесняясь друг друга, вести каждый свою особую линию, встречаясь только за обедом да за вечерним чаем.

4. ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

Стенные часы в классной пробили семь. Эти семь повторенных ударов доходят до моего сознания сквозь сон и порождают во мне печальную уверенность, что теперь сейчас придет горничная Дуняша будить меня; но мне спится еще так сладко, что я стараюсь убедить себя, будто эти противные семь ударов только почудились мне. Повернувшись на другую сторону и плотнее натянув на себя одеяло, спешу воспользоваться сладким, кратковременным блаженством, доставляемым последними минуточками сна, которому, я знаю, сейчас наступит конец.

И, действительно, вот скрипит дверь, вот слышатся тяжелые шаги Дуняши, входящей в комнату с ношею дров. Затем ряд знакомых, каждое утро повторяющихся звуков: шум от грузно сбрасываемой на пол охапки, чирканье спичками, треск лучинок, шелест и шуршанье пламени. Все эти привычные звуки доходят до моего слуха сквозь сон и усиливают во мне ощущение приятной неги и нежелания расстаться с теплой постелькой. «Еще минуточку, только минуточку бы поспать!» Но вот шелест пламени в печке становится все громче и ровнее и переходит в мерное, правильное гудение.

— Барышня, вставать пора! — раздается над самым моим ухом, и Дуняша безжалостной рукой стягивает с меня одеяло.

На дворе только что начинает светать, и первые, бледные лучи холодного зимнего утра, смешиваясь с желтоватым светом стеариновой свечи, придают всему какой-то мертвенный, неестественный вид. Есть ли что-нибудь неприятнее на свете, как вставать при свечках! Я сажусь в постели на корточках и медленно, машинально начинаю одеваться, но глаза мои невольно опять слипаются и приподнятая с чулком рука так и застывает в этом положении.

За ширмами, за которыми спит гувернантка, уже слышится плескание водой, фырканье и энергичное обтирание.

— Don't dowdle, Sonja! If you are not ready in a quarter of an hour, you will bear the ticket «lazy» on your back during luncheon *,— раздается грозный голос гувернантки.

С этой угрозой шутить нельзя. Телесные наказания изгнаны из нашего воспитания, но гувернантка придумала заменить их другими мерами устрашения; если я в чем-нибудь провинюсь, она пришпиливает к моей спине бумажку, на которой крупными буквами значится моя вина, и с этим украшением я должна являться к столу. Я до смерти боюсь этого наказания; поэтому угроза гувернантки имеет способность мгновенно разогнать мой сон. Я моментально спрыгиваю с кровати. У умывальника уже ждет меня горничная с приподнятым кувшином в одной и с большим лохматым полотенцем в другой руке. По английской манере, меня каждое утро обливают холодной водой. Одна секунда резкого, дух захватывающего холода, потом точно кипяток прольется по жилам, и затем во всем теле остается удивительно приятное ощущение необыкновенной живучести и упругости.

Теперь уже совсем рассвело. Мы выходим в столовую. На столе пыхтит самовар, дрова в печке трещат, и яркое пламя отсвечивается и множится в больших замерзших окнах. Сонливости во мне не осталось более и следа. Напротив того, у меня теперь так хорошо, так беспричинно радостно на душе; так хотелось бы шуму, смеха, веселья! Ах, если бы у меня был товарищ, ребенок моих лет, с которым можно бы подурачиться, повозиться, в котором бы, так же как и во мне, ключом кипел избыток молодой, здоровой жизни! Но такого товарища нет у меня, я пью чай сам-друг с гувернанткой, так как другие члены семьи, не исключая и брата, и сестры, встают гораздо позднее. Мне так неудержимо хочется чему-нибудь радоваться и смеяться, что я делаю даже слабую попытку заигрывания с гувернанткой. На беду она сегодня не в духе, что часто случается с ней по утрам, так как она страдает болезнью печени; поэтому она считает своим долгом усмирить неуместный порыв моей веселости, заметив мне, что теперь время для учения, а не для смеха.

День начинается у меня всегда уроком музыки. В большой зале наверху, в которой стоит рояль, температура всегда прохладная, так что пальцы мои коченеют и пухнут, и ногти выступают на них синими пятнами.

Полтора часа гамм и экзерсисов, аккомпанируемых однооб-

---

* Не мямли, Соня! Если ты не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине (англ.).

БИБ

разными ударами палочки, которою гувернантка выстукивает такт, охлаждают значительно то чувство жизнерадостности, с которою я начала мой день. За уроком музыки следуют другие уроки. Пока сестра училась тоже, я находила в уроках большое удовольствие; тогда, впрочем, я была еще такая маленькая, что серьезно меня почти не учили; но я выпрашивала позволение присутствовать на уроках сестры и прислушивалась к ним с таким вниманием, что на следующий раз случалось нередко, что она, большая 14-летняя девочка, не знает заданного урока, я же, семилетняя крошка, запомнила его и подсказываю его ей с торжеством. Это забавляло меня необычайно. Но теперь, когда сестра перестала учиться и перешла на права взрослой, уроки утратили для меня половину своей прелести. Я занимаюсь, правда, довольно прилежно, но так ли бы я училась, если бы у меня был товарищ!

В 12 часов завтрак. Проглотив последний кусок, гувернантка отправляется к окну исследовать, какая погода. Я слежу за ней с трепещущим сердцем, так как это вопрос очень важный для меня. Если термометр показывает менее 10° мороза и притом нет большого ветра, мне предстоит скучнейшая, полуторачасовая прогулка вдвоем с гувернанткой, взад и вперед по расчищенной от снега аллее. Если же, на мое счастье, сильный мороз или ветряно, гувернантка отправляется на неизбежную, по ее понятиям, прогулку одна, меня же, ради моциона, посылает наверх, в залу, играть в мячик.

Игру в мяч я не особенно люблю; мне теперь уже двенадцать лет; я сама считаю себя уже совсем большой, и мне даже обидно, что гувернантка еще считает меня способной увлекаться такою детскою забавой, как игра в мяч; тем не менее я выслушиваю приказание с большим удовольствием, так как оно предвещает мне полтора часа свободы.

Верхний этаж принадлежит специально маме и Анюте, но теперь они обе сидят в своих комнатах; в большой зале никого нет.

Я несколько раз обегаю вокруг залы, погоняя перед собою мячик; мысли мои уносятся далеко. Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозревается взрослыми. Я страстно люблю поэзию; самая форма, самый размер стихов доставляют мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощаю все отрывки русских поэтов, какие только попадаются мне на глаза, и я должна сознаться — чем высокопарнее поэзия, тем она более приходится мне

по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии. В доме у нас никто особенно этой отраслью литературы не интересовался, и хотя у нас была довольно большая библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было. Я никогда не могла дождаться того дня, когда в первый раз досталась мне в руки хрестоматия Филонова, купленная по настояниям нашего учителя. Это было настоящим откровением для меня. В течение нескольких дней спустя я ходила, как сумасшедшая, повторяя вполголоса строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника», пока гувернантка не пригрозила, что отнимет у меня драгоценную книгу.

Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи. Но гувернантка моя этого занятия не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет примерная английская мисс, и сочинение стихов с этим представлением никак не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки; если, на мою беду, ей попадется на глаза клочок бумажки, исписанный моими виршами, она тотчас же приколет его мне к плечу, в присутствии брата или сестры, декламирует мое несчастное произведение, разумеется, жестоко его коверкая и искажая.

Однако гонение это на мои стихи не помогало. В двенадцать лет я была глубоко убеждена, что буду поэтессой. Из страха гувернантки я не решалась писать своих стихов, но сочиняла их в уме, как старинные барды, и поверяла их моему мячику. Погоняя его перед собой, я несусь бывало по зале и громко декламирую два моих поэтических произведения, которыми особенно горжусь: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». В голове у меня задумана длинная поэма «Струйка», нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри», но из нее готовы пока только первые десять строф. А их предполагается 120.

Но муза, как известно, капризна, и не всегда поэтическое вдохновение нисходит на меня как раз в то время, когда мне приказано играть в мяч. Если муза не является на зов, то положение мое становится опасным, так как искушения окружают меня со всех сторон. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувер-

нантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня чтения. Детских книг у меня не много, и я все их уже знаю почти наизусть; гувернантка никогда не позволяет мне прочесть какую-нибудь книгу, даже предназначенную для детей, не прочтя ее предварительно сама, а так как она читает довольно медленно и ей постоянно некогда, то и я нахожусь, так сказать, в хроническом состоянии голода насчет книг; а тут вдруг, под рукой у меня такое богатство! Ну, как тут не соблазниться!

Я несколько минут борюсь сама с собой. Я подхожу к какой-нибудь книжке и сначала только заглядываю в нее; переверну несколько страничек, прочту несколько фраз, потом опять пробегусь с мячиком, как ни в чем не бывало. Но мало-помалу чтение завлекает меня. Видя, что первые попытки прошли благополучно, я забываю об опасности и начинаю жадно глотать одну страницу за другой. Нужды нет, что мне попался, может быть, не первый том романа; я с таким же интересом читаю с середины и в воображении восстановляю начало. Время от времени, впрочем, я имею предосторожность сделать несколько ударов мячиком, на тот случай, чтобы — если гувернантка вернется и придет подсмотреть, что я делаю — она слышала, что я играю, как мне приказано.

Обыкновенно моя хитрость удается. Я во-время услышу шаги гувернантки, подымающейся по лестнице, и успею к ее приходу отложить книжку в сторону, так что гувернантка останется в убеждении, что я все время забавлялась игрою в мяч, как следует хорошему, добронравному ребенку. Раза два или три в детстве случилось мне так увлечься чтением, что я ничего не заметила, пока гувернантка как из-под земли не выросла передо мною и не накрыла меня на самом месте преступления.

В подобных случаях, как вообще после всякой особенно важной провинности с моей стороны, гувернантка прибегала к крайнему средству: она посылала меня к отцу с приказанием самой рассказать ему, как я провинилась. Этого я боялась больше всех других наказаний.

В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он.

Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.

Он любил быть один, и у него был свой собственный мир, в который никто из домашних не допускался. По утрам он уходил на хозяйственную прогулку, один или в обществе управляющего; почти всю остальную часть дня сидел в своем кабинете.

Кабинет этот, лежащий совершенно в стороне от других комнат, составлял как бы святую святых в доме; даже мать наша, и та никогда не входила в него, не постучавшись предварительно; детям и в голову бы не пришло явиться в него без приглашения.

Поэтому, когда скажет, бывало, гувернантка: «Ступай к отцу, похвастайся ему, как ты вела себя!» — я испытываю настоящее отчаяние. Я плачу, упираюсь, но гувернантка неумолима и, взяв меня за руку, подводит, или, вернее, протаскивает через длинный ряд комнат к двери в кабинет и тут предоставляет меня моей участи, а сама уходит.

Теперь плакать уже бесполезно; к тому же передняя рядом с кабинетом, и я уже вижу в ней фигуру какого-нибудь праздного, любопытного лакея, который с обидным интересом наблюдает за мной.

— Опять, видно, провинились, барышня! — слышу я за собой полусожалительный, полунасмешливый голос папашиного камердинера Ильи.

Я не удостаиваю его ответом и стараюсь придать себе вид как ни в чем не бывало, как будто я пришла к отцу по собственному желанию. Вернуться назад в классную, не выполнив приказания гувернантки, я не решалась. Это значило бы усугубить вину явным непослушанием; стоять тут у двери, мишенью для насмешек лакеев — невыносимо. Не остается ничего иного, как постучаться в дверь и храбро пойти навстречу моей участи.

Я стучусь, но очень тихо. Проходят опять несколько мгновений, которые кажутся мне вечными.

— Постучитесь громче, барышня! Папенька не слышат! — замечает снова несносный Илья, которого, очевидно, очень занимает вся эта история.

Нечего делать, я стучусь опять

— Кто там? Войдите! — раздается, наконец, голос отца из кабинета.

Я вхожу, но останавливаюсь в полутемноте, у порога. Отец

сидит за своим письменным столом, спиною к двери и не видит меня.

— Да кто же там? Что надо? — окликает он нетерпеливо.

— Это я, папа. Меня Маргарита Францевна прислала! — всхлипываю я в ответ.

Теперь отец уже догадывается, в чем дело.

— А-а! Ты, верно, опять провинилась! — говорит он, стараясь придать своему голосу как можно более суровое выражение.— Ну, рассказывай! Что натворила?

И вот я, всхлипывая и запинаясь, начинаю мой донос на самое себя.

Отец выслушивает мою исповедь рассеянно. Его понятия о воспитании весьма элементарны, и вся педагогика подводится им под рубрику женского, а не мужского дела. Он, разумеется, и не подозревает, какой сложный внутренний мир успел уже сложиться в голове той маленькой девочки, которая стоит теперь перед ним и ждет своего приговора. Занятый своими «мужскими» делами, он и не заметил, как я мало-помалу вырастала из того пухленького ребенка, каким была лет пять назад. Его, видимо, затрудняет, что сказать мне и как поступить в данном случае. Мой проступок кажется ему маловажным, но он твердо верит в необходимость строгости при воспитании детей. Ему внутренно досадно на гувернантку, которая не умела уладить такого простого дела сама, а послала меня к нему; но раз уже прибегли к его вмешательству, он должен проявить свою власть. Поэтому, чтобы не ослабить авторитета, он старается придать себе вид строгий и негодующий.

— Какая ты скверная, нехорошая девочка! Я очень тобой недоволен,— говорит он и останавливается, потому что не знает, что сказать больше.— Поди, стань в угол! — решает он, наконец, так как из всей педагогической мудрости у него сохранилось в памяти только то, что провинившихся детей ставят в угол.

И вот, можете себе представить, мне, большой, двенадцатилетней девице, мне, которая за несколько минут перед тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, мне приходится пойти и стать в угол, как малому, неразумному ребенку.

Отец продолжает свои занятия у письменного стола. В комнате воцаряется глубокое молчание. Я стою, не шевелясь, но, боже мой! чего только не передумаю я и не перечувствую в эти несколько минут! Я так ясно понимаю и сознаю, до какой степени все это положение глупо и нелепо. Какое-то чувство внутренней стыдливости перед отцом заставляет меня по-

виноваться молча и не дает мне разреветься, сделать сцену. А между тем чувство горькой обиды, бессильного гнева подступает к горлу и душит меня. «Какие это пустяки! Что мне значит постоять в углу!» — внутренно утешаю я себя, но мне больно, что отец может и хочет меня унизить, и это тот самый отец, которым я так горжусь, которого ставлю выше всех!

Хорошо еще, если мы остаемся одни. Но вот кто-то стучится в дверь, и в комнату, под тем или другим предлогом, является несносный Илья. Я отлично знаю, что предлог выдуманный, что он просто пришел из любопытства, посмотреть, как барышня наказана; но он и вида не подает, делает свое дело, не торопясь, как будто ничего не замечая, и только уходя бросает на меня насмешливый взгляд. О, как я ненавижу его в эту минуту!

Я стою так тихо, что, случается, отец и забудет обо мне и заставит простоять довольно долго, так как, разумеется, я из гордости ни за что не попрошу сама прощения. Наконец, отец вспомнит обо мне и отпустит со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Ему и в голову не приходит, какую нравственную пытку перенесла его бедная маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероятно, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в душу. Через несколько минут он, разумеется, совсем забудет об этом неприятном ребяческом эпизоде. А я между тем ухожу из его кабинета с чувством такой недетской тоски, такой незаслуженной обиды, как мне, может быть, раза 2—3 приходилось испытывать впоследствии, в самые тяжелые минуты моей жизни.

Я возвращаюсь в классную, притихшая и присмиревшая. Гувернантка довольна результатами своего педагогического приема, так как в течение многих дней после этого я так тиха и скромна, что она не может нахвалиться моим поведением; но она была бы менее довольна, если бы знала, какой след оставил у меня на душе этот акт моего усмирения.

Вообще во всех моих воспоминаниях детства черною нитью проходит убеждение, что я не была любима в семье. Кроме случайно подслушанных толков прислуги, развитию этого печального убеждения способствовала в значительной степени та жизнь особняком, которую я вела с моей гувернанткой.

Судьба гувернантки тоже была невеселая. Некрасивая, одинокая, уже немолодая, отставшая от английского общества, но никогда вполне не освоившаяся в России, она сосредоточила

на мне весь тот запас привязчивости, всю ту потребность в нравственной собственности, на какую только была способна ее крутая, энергичная, неподатливая натура. Я действительно составляла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и придавала значение ее жизни; но любовь ее ко мне была тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности.

Мать моя и гувернантка были две натуры столь противоположные, что никакой симпатии между ними быть не могло. Мать моя и по характеру, и по наружности принадлежала к числу тех женщин, которые никогда не стареют. Между нею и отцом была большая разница лет, и отец вплоть до старости продолжал относиться к ней, как к ребенку. Он называл ее Лиза и Лизок, тогда как она величала его всегда Васильем Васильевичем. Случалось ему даже в присутствии детей делать ей выговоры. «Опять ты говоришь вздор, Лизочка!» — слышали мы нередко. И мама нисколько не обижалась на это замечание, а если продолжала настаивать на своем, то только как избалованный ребенок, который в праве желать и неразумного.

Гувернантки нашей мама положительно побаивалась, так как свободолюбивая англичанка нередко резала ее жестоким манером и в детских наших комнатах признавала себя одну полновластной хозяйкой, маму же принимала как гостью. Поэтому мама и заглядывала к нам не часто, и в воспитание мое совсем не вмешивалась.

Что до меня касается, то я в душе очень восхищалась своей мамой, которая казалась мне красивее и милее всех знакомых нам барынь; но в то же время я постоянно испытывала некоторую обиду: за что это она меня любит меньше других детей?

Сижу, я, бывало, вечером в классной. Уроки мои к завтрашнему дню все уже готовы, но гувернантка все еще под разными предлогами не пускает меня наверх. Между тем сверху, из залы, которая расположена прямо над классной, доносятся звуки музыки. Мама имеет привычку играть по вечерам на фортепьяно. Она играет целыми часами, наизусть, сочиняя, импровизируя, переходя от одной темы к другой. У нее очень много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше, и я ужасно люблю слушать, как она играет. Под влиянием музыки и усталости от выученных уроков на меня находит наплыв нежности, желание к кому-нибудь прижаться, приголубиться. Остается уже всего несколько минут до вечернего чая, и гувернантка, наконец, отпускает меня. Я взбегаю наверх и застаю следующую сцену: мама уже перестала играть и сидит на ди-

ване, а по обеим ее сторонам, прижавшись к ней, Анюта и Федя.

Они смеются, болтают о чем-то так оживленно, что и не замечают моего прихода. Я стою несколько минут возле них, молча, в надежде, что они меня заметят. Но они продолжают говорить о своем. Этого достаточно, чтобы охладить весь мой пыл. «Им и без меня хорошо»,— проходит у меня по душе горькое, ревнивое чувство, и, вместо того, чтобы броситься к маме и начать целовать ее милые белые руки, как я представляла себе внизу, в классной, я забиваюсь куда-нибудь в угол, поодаль от них, и дуюсь, пока не позовут нас к чаю и вскоре затем пошлют меня спать.

5. МОЙ ДЯДЯ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более, что потребность в сильной и исключительной привязанности развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что, лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-либо выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.

Я помню в детстве две особенно сильные привязанности — к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Крюковский. Это был чрезвычайно живописный старик, высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми, взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу до верху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлэндских собак да у малых детей.

Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семейства, но, на самом деле, каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись, таким образом, без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее, и оживленнее, когда он бывал у нас.

Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue de deux Mondes», своего любимого журнала.

Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему не мало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, «что Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 года, так и умер в этой уверенности [5].

Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми.

Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» — кричал он и в пылу увлеченья крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние — это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.

Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в какомнибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние за отсутствием общих интересов, не знали, о чем говорить друг с другом.

— А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? — скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери.— Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно [6]. А, каково? Понимаете ли вы, чем это пахнет?

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно, украшая и пополняя ее и выводя из нее

такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.

После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию. Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.

Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.

Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая, «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.

Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшею гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, повидимому удаленных от жизни, научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения анютиного поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.

Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.

Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue de deux Mondes». Одна — об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая — об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар[7] очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.

Но не одна политика и отчеты о новейших изобретениях

имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже детские книги. Никогда, ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встречала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое он ценил.

Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.

Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной, считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смирного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян[8]. До всего, что он знал, он или додумался сам, или вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому — совсем ничтожные.

Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно-покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него, как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое, покорное, преданное ей существо,— бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.

Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили

растолковать ему, какое на его долю выпало счастье, и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.

Но счастья из этого союза не вышло.

Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается, однако все мы, точно инстинктом, чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.

Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую, незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».

— Вот была аспид! Упаси боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить. Куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он, и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе,— да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» — кричит. Случалось даже, сымет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам. Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.

— Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену? — восклицаем мы в негодовании.

— Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь, как перчатку? — отвечает тетушка Анна Васильевна.— Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.

— Неужели он ее любил? Злую такую!

— И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как по-

решили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.

— Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? — спрашиваем мы с любопытством.

Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет. Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.

— Тетенька, голубчик, расскажите! — пристаем мы к ней.

Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.

— Да так вот... собственные крепостные девки ее задушили! — отвечает она вдруг.

— Господи! Какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! — восклицаем мы.

— Да так, очень просто! — повествует Анна Васильевна.— Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная девка, Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как захлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете, что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились — всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки, да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег, и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопья подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну, да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие из них, почитай, что и по сию пору в Сибири гниют!

Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.

— Ну, смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! — напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой,

ни с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.

Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.

Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной, шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!

Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что, если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг захлопает в ладоши и в комнату войдут Илья, и Степан, и Саша, и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»

Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а, напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте, с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.

Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало, играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряду вон выходящее, трагическое, на своем веку.

Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него по-

долгу, бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой, сильный, умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет, и руки ее целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам. Раз, только один раз в течение всего моего детства не удержалась я и дотронулась до больного места.

Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя, по обыкновению, сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предалась своим обычным размышлениям на его счет. Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:

— О чем ты это задумалась, деточка?

— Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой? — сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.

Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное, строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинами, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно... Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.

— Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила! — говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое раскрасневшееся от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.

С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною, как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю [9].

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух, в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах [прямых линиях], к которым кривая постоянно приближается, никогда их не дости-

гая, о многих других вещах подобного же рода, смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике, как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке. Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев нехватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга; это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стороны оклеенная простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого, ежедневного созерцания внешний вид многих из формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным [10].

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым [11].

6. ДЯДЯ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ШУБЕРТ

Моя привязанность к другому моему дядюшке, брату моей матери, Федору Федоровичу Шуберту, была совсем иного свойства.

Этот дядюшка, единственный сын покойного дедушки [12], был значительно моложе моей матери; он жил постоянно в Петербурге и, в качестве единственного мужского представителя семьи Шубертов, пользовался безграничным обожанием своих сестер и многочисленных тетушек и кузин, старых девиц.

Его приезд к нам в деревню считался настоящим событием. Мне было лет девять, когда он приехал к нам в первый раз. О дядином приезде толковали много недель наперед. Ему отвели лучшую комнату в доме, и мама сама присмотрела за тем, чтобы в нее поставили самую покойную мебель. Навстречу ему выслали в губернский город, лежащий в 150 верстах от нашего имения, карету, уложив в нее шубу, меховой коврик и плэд, чтобы дядя не простудился, так как это было уже поздно осенью.

Вдруг, накануне того дня, когда ожидали к нам дядю, смотрим мы — подъезжает к парадному крыльцу простая телега, запряженная тройкой почтовых кляч, и из нее выскакивает молодой человек, в легком городском пальто, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо.

— Боже мой! Да ведь это брат Федя! — вскрикнула мама, выглянув из окна.

— Дяденька, дяденька приехали! — разнеслось по всему дому, и все мы выбежали в переднюю встречать гостя.

— Федя, бедный! Как же ты это на перекладных приехал? Разве ты не встретил высланного за тобой экипажа? Тебя, должно быть, растрясло всего? — говорила соболезнующим голосом мама, обнимая брата.

Оказалось, что дядя выехал из Петербурга сутками раньше, чем предполагал.

— Христос с тобой, Лиза! — говорил он, смеясь и стирая морозные капли с усов перед тем, чтобы поцеловать сестру: — я и не воображал себе, что ты столько возни поднимешь из-за моего приезда! Зачем было за мной высылать? Разве я старая баба, что не могу 150 верст в телеге проехать!

Дядя говорил грудным, очень приятным тенором, как-то особенно картавя. Он был на вид еще совсем молодым человеком. Каштановые, подстриженные под гребенку волосы стояли на его голове густым бархатистым бобром, румяные щеки лоснились от мороза, карие глаза глядели задорно и весело, а из-за пухлых яркокрасных, окаймленных красивыми усиками, губ поминутно выглядывал ряд крупных белых зубов.

«Экий молодец этот дядя! Вот прелесть!» — думала я, оглядывая его с восхищением.

— Кто это? Анюта? — спросил дядя, указывая на меня.

— Что ты, Федя! Анюта уже совсем большая. Это только Соня! — обиженным голосом поправила его мама.

— Господи, вот выросли-то у тебя дочки! Смотри, Лиза, ты и опомниться не успеешь, как они тебя в старухи запишут! — сказал дядя, смеясь, и поцеловал меня. Я невольно застыдилась и вся раскраснелась от его поцелуя.

За обедом дядя занимает, разумеется, почетное место, возле мамы. Он кушает с большим аппетитом, что не мешает ему, однако, все время без умолку разговаривать. Он рассказывает разные петербургские новости и сплетни и часто смешит всех и сам закатывается веселым, звонким хохотом. Все слушают его очень внимательно; даже папа относится к нему с большим почтением, без тени той высокомерной, покровительственно-насмешливой манеры, которую он так часто принимает с приезжающими к нам молодыми родственниками и которую эти последние очень не любят.

Чем больше я смотрю на своего нового дядю, тем более он мне нравится. Он уже успел вымыться и переодеться, и по его свежему, здоровому виду никто бы не догадался, что он только что приехал с дороги. Пиджак из плотной английской материи с искрой сидит на нем как-то особенно легко, совсем не как на других. Но больше всего нравятся мне его руки, большие, белые, холеные, с блестящими ногтями, похожими на крупный розовый миндаль. Во все время обеда я не спускаю с него глаз и даже есть забываю — так я занята его разглядыванием.

После обеда дядя садится на маленький угловой диванчик в гостиной и сажает меня к себе на колени.

— Ну, давай знакомиться, mademoiselle моя племянница! — говорит он.

Дядя начинает расспрашивать меня, чему я учусь, что читаю. Дети, обыкновенно, знают сами гораздо лучше, чем думают взрослые, какие их сильные, какие слабые коньки; так, например, я отлично знаю, что учусь хорошо и что все считают меня очень avancée * в науках для моих лет. Поэтому я очень довольна, что дядя вздумал меня об этом спрашивать, и отвечаю на все его вопросы очень охотно и свободно. И я вижу, что дядя очень доволен мной. «Вот какая умница! Уж все это она знает!» — повторяет он ежеминутно.

— Дядя, расскажите-ка и вы мне что-нибудь! — пристаю я к нему в мою очередь.

— Ну, изволь; только такой умной барышне, как, ты нельзя говорить только о серьезном.— И он начинает рассказывать мне про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам-то не так давно вышел из университета, так что все эти сведения свежи в его памяти, рассказывает он очень хорошо, и ему нравится, что я слушаю его с таким вниманием, широко раскрыв и уставив на него глаза.

После этого первого дня каждый вечер стало повторяться то же самое. После обеда и мама, и папа отправляются вздремнуть с полчасика. Дяде нечего делать. Он садится на мой любимый диванчик, берет меня на колени и начинает рассказывать про всякую всячину. Он предлагал и другим детям послушать; но сестра моя, которая только что соскочила со школьной скамейки, побоялась, что уронит свое достоинство взрослой барышни, если станет слушать такие поучительные вещи, «интересные только для маленьких». Брат же постоял раз, послушал, нашел, что это невесело, и убежал играть в лошадки.

Что же до меня касается, то наши «научные беседы», как дядя в шутку прозвал их, стали для меня невыразимо дороги. Моим любимым временем изо всего дня были те полчаса после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, не поручусь я даже, что не примешивалось к этому чувству какой-то детской влюбленности, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить: «дома ли дядя?». Если за обедом кто-нибудь, заметя, что я не спускаю с него глаз,

---

* Успевающей (фр.).

спросит бывало: «а что, Софа, видно, ты очень любишь твоего дядю?» — я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

В течение всего дня я почти не встречалась с ним, так как моя жизнь шла совсем отдельно от жизни взрослых. Но постоянно, и во время уроков, и во время рекреаций, я только и думала: «Скоро ли наступит вечер! Скоро ли я останусь с дядей!»

Однажды, в то время, когда он гостил у нас, к нам приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Эта Оля была единственная девочка моих лет, с которой мне случалось встречаться. Ее привозили к нам, впрочем, не очень часто, но зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас и ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, и хотя характеры наши и вкусы были очень несхожи, так что настоящей дружбы между нами не существовало, но я все же обыкновенно радовалась ее приезду, тем более что в честь его я освобождалась от уроков и мне давался праздник на целый день.

Но теперь, увидя Олю, первою моей мыслью было: «как же будет после обеда?» Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной, и я уже наперед чувствовала, что присутствие глупенькой Оли все испортит.

Поэтому я встретила мою приятельницу с гораздо меньшим удовольствием, чем обыкновенно: «Не увезут ли ее сегодня пораньше?» — думалось мне с тайной надеждой в течение всего утра. Но нет! Оказалось, что Оля уедет только поздно вечером. Что было делать? Скрепя сердце, я решилась открыться моей подруге и попросить ее не мешать мне.

— Слушай, Оля,— сказала я ей вкрадчивым голосом:— я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ты ни захочешь. Но зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась на мое предложение, и я в течение всего дня честно исполняла мою часть договора. Я играла с ней во все игры, какие она ни придумывала, брала на себя какие роли она мне ни назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню, по первому ее слову. Наконец, позвали нас к обеду. За столом я сидела, как на иголках. «Сдержит ли Оля свое слово?» думалось мне, и я исподтишка с беспокойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор.

После обеда я, по обыкновению, подошла к папеньке и ма-

меньке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то он скажет.

— Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать?— спросил дядя, ласково ущипнув меня за подбородок. Я так и подпрыгнула от радости и, весело ухватившись за его руку, собиралась уже итти с ним в наш заветный уголок. Но вдруг я увидела, что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами.

Оказалось, что мои уговоры только испортили дело. Очень может быть, что, если бы я ей ничего не говорила, она, увидя, что мы с дядей собирались беседовать о серьезном и питая спасительный страх ко всему, что напоминает ученье, сама поторопилась бы от нас убежать. Но, видя, что я так дорожу рассказами дяди и что я хочу во что бы ни стало от нее отделаться, она вообразила себе, что мы верно говорим о чем-нибудь очень интересном, и ей захотелось тоже послушать.

— А можно и мне пойти с вами?— спросила она умоляющим голосом, подняв на дядю свои голубые, умильные глаза.

— Разумеется, можно, милочка,— ответил дядя и взглянул на нее очень ласково, очевидно любуясь ее хорошеньким розовым личиком.

Я бросила на Олю гневный, негодующий взгляд, который, однако, не сконфузил ее нимало.

— Да ведь Оля этих вещей не знает. Она, все равно, ничего не поймет,— попробовала я заметить сердитым голосом. Но и эта попытка отделаться от навязчивой подруги ни к чему не повела.

— Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно,— сказал дядя добродушно и, взяв нас обеих за руки, направился с нами к дивану.

Я шла в угрюмом молчании. Эта беседа втроем, причем дядя будет говорить для Оли, соображаясь с ее вкусами и ее пониманием, была вовсе не тем, чего мне хотелось. Мне казалось, что у меня отняли что-то, принадлежащее мне по праву, неприкосновенное и дорогое.

— Ну, Софа, полезай ко мне на колени!— сказал дядя, повидимому, и не замечая совсем моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

— Не хочу!— ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на ду-

ше, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей:

— Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!

Оля не заставила повторить себе это приглашение дважды и, прежде чем я опомнилась, прежде чем я успела сообразить, что случилось, она уже оказалась на моем месте, у дяди на коленях. Этого уж я никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот — не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами.

Я была слишком поражена, чтобы выразить какой бы то ни было протест; я только молча, широко раскрытыми глазами, глядела на мою счастливую подругу; а она, чуть-чуть сконфуженная, но все же очень довольная, восседала себе у дяди на коленях как ни в чем не бывало. Сложив свой маленький ротик в уморительную гримаску, она силилась придать своему круглому детскому личику выражение серьезности и внимания. Вся она раскраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

Глядела я на нее, глядела, и вдруг — клянусь, я теперь и сама не знаю, как это случилось — произошло нечто ужасное. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

Мое нападение было так внезапно, так неожиданно, что в первую секунду все мы трое остались ошеломленными и только молча глядели друг на друга. Но вдруг Оля пронзительно взвизгнула, и от визга ее все очнулись.

Стыд, горький, отчаянный стыд охватил меня. Я опрометью побежала вон из комнаты. «Гадкая, злая девчонка!» — напутствовал меня рассерженный голос дяди.

Моим обычным убежищем во всех важных бедах моей жизни была комната, принадлежавшая прежде Марье Васильевне, теперь отведенная нашей бывшей няне. Там и теперь искала я спасения. Спрятав голову в колени доброй старушки, я рыдала долго и продолжительно, и няня, видя меня в таком положении, не расспрашивала меня ни о чем, а только, гладя мои волосы, осыпала меня ласкательными именами. «Бог с тобою, моя ясонька! Успокойся, родная!» — говорила она, и мне, в моем возбужденном состоянии духа, так отрадно было выплакаться хорошенько у нее на коленях.

По счастью, в этот вечер гувернантки моей не было дома: она на несколько дней уехала к соседям. Поэтому никто не хватился меня. Я могла вволю наплакаться у няни. Когда я несколько успокоилась, она напоила меня чайком и уложила в

кроватку, где я в ту же секунду уснула крепким, свинцовым сном.

Но когда я проснулась на следующее утро и вдруг вспомнила, что было вчера, мне опять стало так стыдно, что я думала, что никогда больше не решусь глядеть в глаза людям. Однако все обошлось гораздо лучше, чем я ожидала. Олю увезли еще вчера вечером. Очевидно, она была так благородна, что не нажаловалась на меня. По лицам всех в доме было видно, что они ничего не знают. Никто не попрекал меня вчерашним, никто не дразнил меня. Дядя, и тот делал вид, будто ничего особенного не произошло.

Однако, странное дело, с этого дня чувства мои к дяде совсем изменили свой характер. Послеобеденные наши беседы не возобновлялись более. Вскоре после этого эпизода он уехал назад в Петербург, и хотя впоследствии мы часто встречались, и он всегда был добр ко мне, и я его очень любила, но прежнего обожания к нему я уже никогда больше не испытывала.

7. МОЯ СЕСТРА

Но несравненно сильнее всех других влияний, отразившихся на моем детстве, было влияние моей сестры Анюты.

Чувство, которое я питала к ней с самого моего детства, было очень сложное. Я восхищалась ею непомерно, подчинялась ей во всем беспрекословно и чувствовала себя очень польщенной всякий раз, когда она дозволяла мне принять участие в чем-нибудь, что занимало ее самое. Для сестры моей я пошла бы в огонь и в воду, и в то же время, несмотря на горячую привязанность к ней, в глубине души гнездилась у меня и крупица зависти, той особого рода зависти, которую мы так часто, почти бессознательно, испытываем к людям, нам очень близким, которыми мы очень восхищаемся и которым желали бы во всем подражать [13].

А между тем завидовать моей сестре грешно было, так как судьба ее была, собственно говоря, далеко не веселая.

Родители мои переехали на постоянное жительство в деревню именно к тому времени, когда она начала выходить из детского возраста.

Незадолго после нашего переезда вспыхнуло польское восстание, и так как имение наше лежало на самой границе Литвы и России, то отголосок этого восстания коснулся и нас. Большинство соседних помещиков, и преимущественно самые богатые и образованные, были поляки: многие из них оказались более или менее серьезно скомпрометированными; у некоторых имения были конфискованы; почти все обложены контрибуциями. Многие добровольно побросали свои усадьбы и уехали за границу [14]. В годы, следовавшие за польским восстанием, молодежи как-то совсем и не видно было в наших краях: она вся куда-то улетучилась. Оставались только дети, да старики, безобидные, напуганные, боявшиеся собственной тени, да разный пришлый люд чиновников, купцов и мелкопоместных дворян.

Понятно, что при подобных условиях деревенская жизнь не

811—2

была особенно весела для молоденькой девушки. К тому же все предварительное воспитание Анюты было такого рода, что никаких деревенских вкусов у нее развиться не могло. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. К тому же зачинщицей всяких подобных удовольствий всегда являлась англичанка гувернантка, а существовавший между нею и Анютою антагонизм был так велик, что стоило одной из них выступить с каким-нибудь предложением, чтобы другая тотчас же отнеслась к нему враждебно. Одно лето пристрастилась Анюта, правда, к верховой езде, но это было, кажется, больше из подражания героине какого-то, занимавшего ее тогда романа. Так как подходящего спутника не находилось, то вскоре одинокие прогулки верхом, в сопровождении одного скучающего кучера, ей надоели, и ее верховая лошадь, окрещенная ею романическим именем «Фрида», скоро перешла к более скромной должности — развозить по полям управляющего и стала опять известна под своей первоначальной кличкой «Голубки».

О том, чтобы сестра занялась хозяйством, не могло быть и речи: до такой степени подобное предложение показалось бы нелепым и ей самой, и всем ее окружающим. Все воспитание ее было направлено к тому, чтобы развить из нее блестящую светскую барышню. Чуть ли не с семилетнего возраста она привыкла быть царицей на всех детских балах, на которые ее часто возили, пока родители жили в больших городах. Папа очень гордился ее детскими успехами, о которых шло в нашей семье много преданий.

— Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези. Она всякого царевича с ума сведет,— говаривал, бывало, папа, разумеется, в виде шутки; но беда была в том, что не только мы, младшие дети, но и сама Анюта принимала эти слова всерьез.

В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высокенькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла назваться почти писаной красавицей, а кроме того у нее было много своеобразного charme *. Она сама отлично сознавала, что могла бы играть первую роль в любом обществе, а тут вдруг деревня, глушь, скука.

Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Отец сначала только отшучивался, но иногда он снисходил до объяснения и очень резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика — жить в своем поместье. Бросить

* Очарование (фр.).

811—2

теперь имение значило бы разорить всю семью. На эти доводы Анюта не знала, что возразить. Она только чувствовала, что ей-то от этого не легче, что ее-то молодость дважды не повторится. После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала [15].

Впрочем, раз в год, зимою, отец отправлял обыкновенно мать и сестру на месяц или недель на шесть в Петербург погостить у тетушек. Но поездки эти, стоившие массу денег, пользы собственно не приносили. Они только разжигали в Анюте вкус к удовольствиям, а удовлетворения не доставляли. Месяц в Петербурге пройдет всегда так быстро, что она и опомниться не успеет. Такого человека, который бы мог направить ее ум на серьезное, она в том обществе, куда ее возили, встретить не могла. Женихов подходящих тоже не представлялось. Нашьют ей, бывало, нарядов; свезут раза три-четыре в театр или на бал в дворянское собрание; кто-нибудь из родственников устроит вечер в ее честь, наговорят комплиментов ее красоте; потом, только что она начнет входить в настоящий вкус всего этого, опять увезут ее в Палибино, и опять начнется для нее безлюдье, безделье, скука, скитание целыми часами из угла в угол по огромным комнатам палибинского дома, переживание в мыслях недавних радостей и страстные, бесплодные мечты о новых успехах на том же поприще.

Чтобы хоть чем-нибудь наполнить пустоту своей жизни, сестра постоянно выдумывала себе какие-нибудь искусственные увлечения, и так как жизнь ее домашних тоже была очень бедна внутренним содержанием, то обыкновенно все в доме с жаром накидывались на всякую ее новую затею, как на предлог для разговоров и для волнений. Одни порицали ее, другие сочувствовали ей, но для всех она доставляла приятный перерез в обычном однообразии жизни.

Когда Анюте было всего лет пятнадцать, она проявила первый свой акт самостоятельности тем, что набросилась на все романы, какие только находились в нашей деревенской библиотеке, и поглотила их неимоверное количество. По счастью, никаких «дурных» романов у нас в доме не имелось, хотя в плохих и в бездарных недостатка не было. Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением. Они ввели ее в неведомый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии. С ней повторилось то же самое, что за много веков

перед тем было с бедным Дон-Кихотом: она уверовала в рыцарей и самое себя вообразила средневековой барышней.

На беду еще наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его: Château Palibino *. Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой, ведущей в нее лестницы заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутины, увесила ее старыми коврами и оружием, выкопанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное местопребывание. Как теперь вижу я ее гибкую, стройную фигуру, облеченную в плотно обтягивающее ее белое платье, с двумя тяжелыми белокурыми косами, свесившимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно, на большую дорогу, не едет ли рыцарь.

— Soeur Anne, soeur Anne! Ne vois tu rien venir?

— Je ne vois que la terre qui poudroit et l'herbe qui verdoit! **

На место рыцаря приезжал исправник, приезжали акцизные чиновники,... а рыцаря все не было. Наскучило, наконец, сестре ждать его, и рыцарский период прошел у нее столь же быстро, как и начался.

В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд».

После Гастингского сражения Эдит «Лебединая шея» нашла в числе убитых труп любимого ею короля Гаральда. Перед самою битвою он совершил клятвопреступление, смертный грех, и умер, не успев покаяться. Душа его обречена на вечные муки.

После этого дня исчезла и Эдит из родного края, и никто из ее близких не слыхал более о ней. С тех пор прошло много лет, и самая память об Эдит начала забываться.

Но на противоположном берегу Англии, среди диких скал и лесов, стоит монастырь, известный своим строгим уставом. Там живет уже много лет одна монахиня, наложившая на себя обет вечного молчания и восхищающая всю обитель подвигами своего благочестия. Она не знает покоя ни днем, ни ночью; в ранние часы утра и в глухую полночь виднеется ее коленопрекло-

---

* Замок Палибино (фр.).

** Сестра, Анна, сестра Анна! Не видишь ли ты — идет кто-нибудь? — Я вижу только пылящую землю и зеленеющую траву (фр.) [10].

ненная фигура перед распятием Христа в монастырской часовне. Всюду, где есть какой-нибудь долг совершить, помощь подать, чужое страдание утешить,— всюду является она первою. Ни один человек не умирает в околотке без того, чтобы над его смертным одром не склонилась высокая фигура бледной монахини, без того, чтобы чела его, уже покрытого холодным предсмертным пóтом, не коснулись ее бескровные уста, скованные страшным обетом вечного молчания.

Но никто не знает, кто она такая, откуда она пришла. Лет двадцать тому назад явилась к воротам монастыря закутанная черным покрывалом женщина и после долгого, таинственного разговора с игуменьей навсегда осталась тут.

Тогдашняя игуменья давно уже умерла. Бледная монахиня все расхаживает тут, как тень, но никто из ныне живущих в монастыре не слыхал звука ее голоса.

Молодые монахини и бедный люд во всей окрестности поклоняются ей, как святой. Матери приносят к ней больных детей, чтобы она коснулась их рукою, в надежде, что они исцелятся от одного ее прикосновения. Но есть также люди, которые поговаривают, что, верно, в молодости она была великой грешницей, если ей приходится путем такого самобичевания искупать прошлое.

Наконец, после многих, многих лет самоотверженной работы наступает ее смертный час. Все монахини, и молодые, и старые, столпи́лись у ее смертного одра; сама мать-игуменья, уже давно лишившаяся употребления ног, велела перенести себя в ее келью.

Вот входит священник. Властью, данной ему господом нашим Иисусом Христом, он разрешает умирающую от наложенного ею на себя обета молчания и заклинает ее поведать им перед кончиной, ктó она такая, какой грех, какое преступление тяготеет на ее совести.

Умирающая с усилием приподнимается на постели. Ее бескровные губы словно окаменели в их долгом молчании и отвыкли от людской речи; в течение нескольких секунд они шевелятся судорожно и машинально, прежде чем им удается издать какой-нибудь звук. Наконец, повинуясь приказанию своего духовного отца, монахиня начинает говорить, но голос ее, не раздававшийся в течение двадцати лет, звучит глухо и неестественно.

— Я — Эдит,— с трудом произносит она.— Я невеста погибшего короля Гаральда.

При звуке этого имени, проклинаемого всеми благочестивыми служителями церкви, робкие монахини в ужасе совершают крестное знамение. Но священник говорит:

— Дщерь моя, ты любила на земле великого грешника. Король Гаральд проклят нашей общей святой матерью — католической церковью, и не будет ему никогда прощения: вечно гореть ему в адском огне. Но бог видел твое многолетнее подвижничество. Он оценил твое раскаяние и слезы. Иди с миром. В райской обители ждет тебя другой, бессмертный жених.

Впалые, словно восковые щеки умирающей внезапно покрываются румянцем. В ее, казалось, давно поблекших глазах вспыхивает страстный, лихорадочный огонь.

— Не надо мне рая без Гаральда!!— восклицает она к ужасу всех присутствующих монахинь.— Если Гаральд не прощен, пусть и меня не зовет бог в свою обитель!

Монахини стоят молча, оцепенелые от ужаса, а Эдит, с неестественным усилием приподнявшись со своего одра, повергается ниц перед распятием.

— Великий боже!— взывает она своим надломленным, уже почти нечеловеческим голосом.— За один миг страданий твоего сына ты снял со всего человечества печать прирожденного греха. А я в течение двадцати лет умираю каждый день, каждый час медленной мучительной смертью. Ты видел, ты знаешь мои страдания. Если я заслужила ими перед тобой — прости Гаральда! Яви мне перед смертью знамение: когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собою свеча перед распятием. Тогда я буду знать, что Гаральд прощен.

Священник читает «Отче наш». Торжественно, внятно произносит он каждое слово. Монахини, и молодые, и старые, шопотом повторяют за ним святую молитву. Между ними нет ни одной, которая не проникнулась бы жалостью к несчастной Эдит, которая не отдала бы охотно собственной жизни за спасение души Гаральда.

Эдит лежит распростертая на земле. Ее тело уже сведено судорогой, и вся ее угасающая жизнь сосредоточилась только в ее глазах, устремленных на распятие.

Свеча все не загорается.

Священник прочел молитву. «Аминь», провозгласил он печальным голосом. Чуда не совершилось. Гаральд не прощен.

Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор ее погас навеки[17].

И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры. Ее воображению в первый раз в жизни ясно представились вопросы: есть ли будущая жизнь? все ли кончается смертью? встретятся ли два любящих существа на том свете и узнают ли друг друга?

С той необузданностью, которую она вносила во все, что

делала, сестра вся проникнулась этими вопросами, точно она первая на них натолкнулась, и ей преискренне стало казаться, что она не может жить, не получив на них ответа.

Как теперь помню, был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было удивительно стройно и хорошо. В открытые окна врывался запах роз и скошенного сена. С фермы доносились мычание коров, блеяние свец, голоса рабочих,— все разнообразные звуки деревенского летнего вечера,— но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя. У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване, с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у нее надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

— Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила ее в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

— Ты, все равно, не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудная, эта жестокая книга — она указала на роман Бульвера—заставила меня глубже взглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь — мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно! ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась головой в подушку дивана.

Это искреннее отчаяние 16-летней девушки, в первый раз наведенной на мысль о смерти чтением экзальтированного английского романа, эти патетические, книжные слова, обращенные к десятилетней сестре, все это, вероятно, заставило бы улыбнуться взрослого. Но у меня сердце буквально замерло от ужаса, и я вся преисполнилась благоговением к важности и серьезности мыслей, занимающих Анюту. Вся краса летнего вечера внезапно померкла для меня, и я даже устыдилась той беспричинной радости, которая за минуту перед тем переполняла все мое существо.

С. В. Ковалевская (1868 г.)

— Но ведь мы же знаем, что есть бог и что после смерти мы пойдем к нему,— попробовала я, однако, возразить. Сестра посмотрела на меня кротко, как взрослый на ребенка.

— Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом,— сказала она голосом очень печальным, но вместе с тем преисполненным такого сознания превосходства надо мной, что я тотчас почему-то устыдилась ее слов.

После этого вечера с сестрой моей произошла большая перемена. Несколько дней после этого она ходила кротко-печальная, изображая всем своим видом отречение от благ земных. Все в ней говорило: memento mori *. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами были забыты. На что любить, на что желать, когда все кончается смертью!

Сестра не дотрагивается больше ни до единого английского романа: они ей все опротивели. Зато она жадно поглощает Imitation de Jésus Christ ** и решается подобно Фоме Кемпийскому, путем самобичевания и самоотречения заглушить возникающие в душе сомнения [18].

С прислугой она небывалым образом кротка и снисходительна. Если я или младший брат о чем-нибудь просим ее, она не ворчит на нас, как бывало иногда прежде, а тотчас уступает нам, но с видом такой душесокрушающей résignation ***, что у меня сжимается сердце и пропадает всякая охота к веселью.

Все в доме преисполнились уважением к ее благочестивому настроению и обращаются с ней нежно и осторожно, как с больной или как с человеком, потерпевшим тяжелое горе. Только гувернантка недоверчиво пожимает плечами, да папа подтрунивает за обедом над ее туманным видом, «son air ténébreux» ****. Но сестра покорно переносит насмешки отца, а с гувернанткой обращается с такой изысканной вежливостью, которая бесит последнюю, пожалуй, больше грубости. Видя сестру свою такою, и я ничему не могу радоваться; даже стыдно, что я еще не довольно сокрушаюсь, и втайне завидую силе и глубине чувств своей старшей сестры.

Продолжалось это настроение, однако, не долго. Приближалось 5 сентября: это были именины моей матери, и день этот всегда праздновался у нас в семье с особенной торжественностью. Все соседи, верст на пятьдесят в окружности, съезжались к нам; набиралось человек до ста, и уже всегда к этому

---

* Помни о смерти (лат.).
** «Подражание Иисусу Христу» (фр.).
*** Покорность судьбе (фр.).
**** Мрачный вид (фр.).

дню устраивалось у нас что-нибудь особенное: фейерверк, живые картины или домашний спектакль. Приготовления начинались, разумеется, задолго наперед.

Мать моя была большая любительница домашних спектаклей и сама играла хорошо и с большим увлечением. В нынешнем году у нас только что отстроили постоянную сцену, совсем как следует, с кулисами, занавесью и декорациями. В соседстве было несколько старых, записных театралов, которых всегда можно было завербовать в актеры. Матери очень хотелось домашнего спектакля, но теперь, когда у нее была взрослая дочь, ей как будто совестно было выказывать слишком много азарта к этому делу; ей бы хотелось, чтобы все это устроилось якобы для удовольствия Анюты. А Анюта тут-то, как нарочно, напустила на себя монашеское настроение духа!

Помню я, как осторожно, несмело подступала к ней мать, стараясь навести ее на мысль о домашнем спектакле. Анюта сдалась не тотчас же; сначала она обнаруживала большое презрение ко всей этой затее: «как хлопотливо! и к чему!» Наконец, она согласилась, как бы уступая желаниям других.

Но вот съехались участвующие, приступили к выбору пьесы. Это, как известно, дело не легкое: надо, чтоб пьеса была и забавна, и не слишком вольна, и не требовала большой постановки. В этом году остановились на французском водевиле «Les oeufs de Perette» *. Анюте в первый раз приходилось участвовать в домашнем спектакле на правах взрослой барышни; ей досталась, разумеется, главная роль. Начались репетиции; у нее обнаружился удивительный сценический талант. И вот, боязнь смерти, борьба веры с сомнениями, страх таинственного au delà **, все улетучилось. С утра до вечера звучит по всему дому звонкий голос Анюты, распевающей французские куплеты.

После маминых именин она опять горько плакала, но уже по другой причине: потому что отец не хотел сдаться на ее убедительные просьбы поместить ее в театральную школу,— она чувствовала, ее призвание в жизни — быть актрисой.

---

* «Яйца Перетты» (фр.).
** Потустороннего мира (фр.).

8. [НИГИЛИЗМ АНЮТЫ]

В то время, когда Анюта мечтала о рыцарях и проливала горькие слезы о судьбе Гаральда и Эдит, большинство интеллигентной молодежи в остальной России было охвачено совсем другим течением, совсем другими идеалами. Поэтому увлечения Анюты могут показаться, пожалуй, странным анахронизмом. Но тот уголок, в котором лежало наше имение, был так удален от всяких центров, такие крепкие, высокие стены ограждали Палибино от внешнего мира, что волна новых веяний могла достигнуть в наш мирный заливчик лишь долгое время спустя после того, как она поднялась в открытом море. Зато, когда эти новые течения дошли, наконец, до берега, они сразу охватили Анюту и увлекли ее за собой.

Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи — сказать трудно. Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи — оставлять по себе мало следов. Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот перед ним совсем иная формация, совсем новые типы, а откуда они взялись, как развились они из прежних,— он сказать не может.

Окаменелые экземпляры вполне развитых типов всюду находятся во множестве, ими битком набиты все музеи, но радрадешенек бывает палеонтолог, если ему где-нибудь случайно удастся выкопать череп, несколько зубов, кусочек отдельной кости какого-нибудь переходного типа, по которым он может воссоздать в своей научной фантазии тот путь, каким совершалось развитие. Можно подумать, что природа сама ревниво стирает и сглаживает все следы своей работы; она как будто щеголяет совершенными образцами своего творчества, в кото-

рых ей удалось воплотить какую-нибудь вполне развитую мысль, но она немилосердно уничтожает самую память о своих первых, неуверенных попытках[19].

Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое несомненно подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность, она шла как будто разом, отовсюду.

Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретического, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей — отречься от детей.

Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то — убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу — учиться, которая в Петербург — к «нигилистам».

Главным пугалом всех родителей и наставников в палибинском околотке была какая-то мифическая коммуна, которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге. В нее — так, по крайней мере, уверяли — вербовали всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом. Молодые люди обоего пола жили в ней в полнейшем коммунизме. Прислуги в ней не полагалось, и благородные барышни-дворянки собственноручно мыли полы и чистили самовары. Само собою разумеется, что никто из лиц, распространявших эти слухи, сам в этой коммуне не был. Где она находится и как она вообще может существовать в Петербурге, под самым носом у полиции, никто почти

не знал, но тем не менее существование подобной коммуны никем не подвергалось сомнению. Вскоре и в непосредственной близости от нашего дома стали обнаруживаться признаки времени. У приходского священника, отца Филиппа был сын, всегда прежде радовавший сердца своих родителей добронравием и послушанием. И вдруг, кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша, ни с того, ни с сего, превратился в непокорного сына и наотрез отказался итти в священники, хотя ему стоило только руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство, архиерей, призвал его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта заманчивая перспектива не прельстила молодого поповича. Он предпочел уехать в Петербург, поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет учения на чай да на сухую булку.

Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его, вместо того, пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею, якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы, что бедный, огорошенный батюшка схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой.

В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.

Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на вопрос человека: «что ему угодно?» ответил, что просто пришел к генералу с визитом.

Отец мой уже наслышался не мало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодо-

вал, что молодой выскочка вздумал явиться к нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».

Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился нимало и уходя проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в его доме не будет». Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.

Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала в кабинет отца и с раскрасневшимися щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека».

Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, Анютин внезапный припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.

Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придать выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в присутствии Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступаться за конюха; разумеется, и царевна, и ее protégé были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину сказку, не смущаясь нимало, а, напротив, с задорным и вызывающим видом.

Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.

Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами, как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зонтиком в ручках поигрывает. А он себе шагает с ней рядом, своими длинными ножищами — ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И все-то он что-то разглагольствует и руками

размахивает. А то вдруг вытащит из кармана растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».

Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца или на того средневекового рыцаря, о которых когда-то мечтала Анюта. Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный, вульгарный выговор на б, несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, все это не делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами. Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романической подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.

И, действительно, главный prestige* молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только-что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало того, он имел даже счастье видеть собственными очами,— правда, только издали,— многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные: «Revue de deux Mondes» и «Athenaeum» из иностранных, «Русский вестник» — из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого пошиба: «Современник», «Русское Слово», каждая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже нумер запрещенного «Колокола» (Герцена) [20].

Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против них и спорила. Но во всяком случае, под влиянием разговоров с поповичем и чтения доставляемых им книг, она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.

К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его уехать и не возвращаться

---

* Обаяние (фр.).

на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты, продолжали расти и развиваться.

Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто в черные платья, с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятишек, учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает.

Но всего замечательнее то, что у Анюты, ненавидевшей прежде учение, явилась теперь страсть учиться. На место того, чтобы, как прежде, тратить свои карманные деньги на наряды и тряпки, она выписывает теперь ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: «Физиология жизни», «История цивилизации» и т. д.

Однажды пришла Анюта к отцу и высказала вдруг совершенно неожиданное требование: чтобы он отпустил ее одну в Петербург учиться. Отец сначала хотел обратить ее просьбу в шутку, как он делывал и прежде, когда Анюта объявляла, что не хочет жить в деревне. Но на этот раз Анюта не унималась. Ни шутки, ни остроты отца на нее не действовали. Она горячо доказывала, что из того, что отцу ее надо жить в имении, не следует еще, чтобы и ей надо было запереться в деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья. Отец наконец, рассердился и прикрикнул на нее, как на маленькую.

— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки — жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану,— сказал он.

Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали очень натянутые; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась шпилька или язвительный намек [21].

Вообще в семье нашей стал происходить теперь небывалый разлад. Общих интересов и прежде было не много, но прежде все члены семьи жили каждый сам по себе, просто не обращая большого внимания друг на друга. Теперь же образовалось словно два враждебных лагеря.

Гувернантка с самого начала выступила ярой противницей всех новых идей. Анюту она окрестила нигилисткой и «передовой барышней». Это последнее название звучало как-то особенно ядовито в ее устах. Инстинктом чувствуя, что Анюта что-то такое затевает, она стала подозревать ее в самых преступных за-

мыслах: убежать тайком из дома, обвенчаться с поповичем, поступить в пресловутую коммуну. Поэтому она стала бдительно и недоверчиво наблюдать за каждым ее шагом. А Анюта, чувствуя, что гувернантка за ней подсматривает, нарочно, чтобы подразнить ее, стала окружать себя раздражительною и обидною таинственностью. То воинственное настроение, которое господствовало теперь в доме нашем, не замедлило отразиться и на мне. Гувернантка, и прежде не одобрявшая моего сближения с Анютой, теперь стала ограждать свою воспитанницу от «передовой барышни», словно от заразы. Насколько могла, она мешала мне с сестрой оставаться наедине и на каждую мою попытку убежать из классной наверх, в мир взрослых, стала смотреть как на преступление.

Этот бдительный надзор гувернантки страшно надоедал мне. Я тоже чутьем чувствовала, что у Анюты завелись какие-то новые, прежде небывалые интересы, и мне страстно хотелось понять, в чем именно дело. Всякий раз почти, когда мне случалось вбежать неожиданно в комнату Анюты, я заставала ее за письменным столом что-то пишущей; я пробовала несколько раз допытаться у нее, что такое она пишет, но так как Анюте уже не раз доставалось от гувернантки за то, что она не только сама с пути сбилась, но и сестру совратить хочет, то, боясь новых упреков, она всегда прогоняла меня от себя.

— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим!— говорила она нетерпеливо.

Я возвращалась в классную с чувством досады и раздражения на гувернантку, из-за которой и сестра мне ничего сказать не хочет. Бедной англичанке все труднее и труднее становилось ладить со своей воспитанницей. Из разговоров, котрые велись за обедом, я поняла главным образом то, что слушать старших не в моде. Вследствие этого чувство субординации во мне очень ослабело. Ссора моя с гувернанткой происходила теперь почти ежедневно, и после одной особенно бурной сцены эта последняя объявила, что не может более оставаться у нас.

Так как угроза уехать повторялась ею не раз и прежде, то вначале я не обратила на нее большого внимания. На этот раз, однако, дело оказалось серьезным. С одной стороны, гувернантка зашла уже слишком далеко и не могла с честью отказаться от своей угрозы; с другой стороны, постоянные сцены и истории так всем надоели, что родители мои не стали ее удерживать, в надежде, что без нее, быть может, в доме станет тише. Но до самого конца мне не верилось, что гувернантка уедет, пока не наступил, наконец, самый день отъезда.

9. ОТЪЕЗД ГУВЕРНАНТКИ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ АНЮТЫ

Большой, старомодный чемодан, аккуратно обтянутый холщевым чехлом и перевязанный веревками, с утра стоит в передней. Над ним высится целая батарея картоночек, корзиночек, мешечков и узелков, без которых ни одна старая дева не может пуститься в путь. Старенький тарантас, запряженный тройкой в самой простой, подержанной сбруе, которую кучер Яков всегда пускает в дело, когда предстоит дальняя дорога, уже ждет у подъезда. Горничные суетятся, вынося и прибирая разные мелочи и безделушки, но папашин камердинер Илья стоит неподвижно, лениво прислонившись к косяку двери и выражая всей своей пренебрежительной позой, что предстоящий отъезд уж не ахти какой важный и что из-за него подымать суматоху в доме не стоит. Семья наша вся собралась в столовой. Следуя обычному порядку, отец приглашает всех присесть перед дорогой; господа занимают передний угол, а несколько поодаль теснится вся собравшаяся дворня, почтительно присевшая на кончиках стульев. Несколько минут проходят в благоговейном молчании, во время которого невольно охватывает душу чувство нервной тоски, неизбежно вызываемое всяким отъездом и расставаньем. Но вот отец подает знак встать, крестится на образа, остальные следуют его примеру и затем начинаются слезы и обнимания.

Я гляжу теперь на мою гувернантку, в ее темном дорожном платье, увязанную теплым пуховым платком, и она вдруг представляется мне совсем иною, чем я привыкла ее видеть. Она как будто внезапно постарела; ее полная энергичная фигура словно осунулась; глаза ее, «молниеносные», как мы тихонько, в насмешку, прозвали их, от которых не ускользал ни один из моих поступков, теперь красны, припухли и полны слез. Кончики губ ее нервно вздрагивают. В первый раз в жизни она кажется мне жалкою. Она обнимает меня долго, судорожно, с

такой порывистой нежностью, которой я никогда от нее не ожидала.

— Не забывай меня, пиши. Ведь шутка ли расставаться с ребенком, которого я вырастила с пятилетнего возраста!— говорит она, всхлипывая. Я тоже припадаю к ней и начинаю отчаянно рыдать. Мною овладевает жестокая тоска, чувство невозвратимой утраты,— точно с ее отъездом вся наша семья распадается. И к этому примешивается еще сознание собственной виновности. Мне до боли стыдно вспомнить, что все последние дни, не далее как сегодня поутру, меня охватывало тайное ликование при мысли о ее отъезде и о предстоящей свободе.

«Так вот я и дождалась своего, вот она и взаправду уезжает, вот мы и без нее остаемся!» И в ту же минуту мне так ее жалко, что я бы, кажется, бог знает что дала, чтобы ее удержать. Я цепляюсь за нее, точно не могу от нее оторваться.

— Пора ехать, чтобы засветло поспеть в город,— говорит кто-то. Вещи уже все снесены в экипаж. Гувернантку тоже подсаживают. Еще одно долгое, нежное обнимание.

— Барышня, берегитесь, не попадите под лошадей! — кричит кто-то, и экипаж трогается.

Я взбегаю наверх, в угловую комнату, из окон которой видна вся длинная, с версту, березовая аллея, ведущая от дома на большую дорогу, и припадаю лицом к стеклу. Пока виден экипаж, я не могу оторваться от окна, и чувство моей собственной виновности все усиливается. Боже мой! Как мне жаль в эту минуту уехавшую гувернантку! Все мои столкновения с ней — а их было особенно много за это последнее время — кажутся мне теперь в совсем ином свете, чем прежде.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто, никто не любит!» — думается мне с поздним раскаянием, и всхлипывания мои становятся все громче и громче.

— Это ты о Маргарите так сокрушаешься?— спрашивает, пробегая мимо меня, брат Федя. В голосе его слышатся и удивление, и насмешка.

— Оставь ее, Федя. Это делает ей честь, что она такая привязчивая,— слышу я за собой наставительный голос старой тетки, которую никто из детей не любит, почему-то считая ее фальшивой. Как насмешка брата, так и слащавая похвала тетки действуют на меня одинаково неприятным, отрезвляющим образом. Я с детства не могла выносить, чтобы люди, мне равнодушные, утешали меня в сердечном горе. Поэтому я с гневом отталкиваю руку, которую тетка, в виде ласки, поло-

жила мне на плечо, и, пробормотав сердито: «я вовсе не сокрушаюсь, и я вовсе не привязчивая», убегаю к себе в комнату.

Вид опустелой классной чут было не пробудил во мне нового пароксизма отчаяния; только мысль, что никто не будет мешать мне теперь быть с моей сестрой сколько угодно, несколько утешила меня. Я решилась тотчас же побежать к ней и посмотреть, что она делает.

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так хотелось знать, о чем это думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю, наконец, терпение и делаю попытку заговорить.

— Анюта, мне очень скучно! дай мне одну из твоих книжек почитать! — прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит.

Опять несколько минут молчания.

— Анюта, о чем ты думаешь? — решаюсь я, наконец, спросить.

— Ах, отстань, пожалуйста! Слишком мала, чтобы я тебе все говорила, — получаю я презрительный ответ.

Теперь уж я в конец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала, я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать кому-нибудь о том, что ее так занимает, а так как ни с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

— Послушай, — говорит она: — если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я кля-

нусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

— Пойдем в мою комнату,— говорит она торжественно.— Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю — хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящиков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на которой вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Крюковской», и, наконец, подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что, я думаю, я почти слово в слово могу передать его [22].

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо Ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа.

Признаюсь Вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам [на суждение] свои первые литературные опыты на оценку. В нашем случае мне это было бы очень прискорбно [23]. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеивался, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности [24] и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в Вас, [в вашем произведении] что я боюсь, не нахожусь ли я теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который Вы мне ставите: «разовьется ли из Вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же [25] № моего журнала; что же касается Вашего вопроса, то посоветую Вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от Вас — есть в Вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть [попадаются] даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостат-

ки, которые, потрудившись, Вы можете осилить [побороть], общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе: сколько Вам лет и в какой обстановке живете[26]. Мне важно все это знать для правильной оценки Вашего таланта[27].

Преданный вам Федор Достоевский».

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом, в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

— Понимаешь ли ты, понимаешь!— заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения.— Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница — почти прокричала она в порыве неудержимого восторга[28].

Чтобы понять, что значило для нас это слово: «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились, как к чему-то приходящему к нам издалека, из какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то приезжий журналист из Петербурга[29].

И вдруг теперь сестра моя — писательница. Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась

ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой. И ему-то было суждено стать отцом писательницы [30].

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Ростопчину. Он видел ее в Москве, в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени — и отец мой в том числе — безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется, в Баден-Бадене, в зале рулетки.

— Смотрю я, глазам не верю,— рассказывал часто отец: — идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею за панибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все, до последнего золотого, и кричит своим адъютантам: «Eh bien, messieurs, je suis vidée! Rien ne va plus *. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство! [31]

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность, которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О-ва. (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как, разумеется, под своим именем она печатать не могла).

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновому. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною.

Содержание этого рассказа было следующее. Героиня, Лиленька, живет среди людей пожилых, потрепанных жизнью и запрятавшихся в тихий уголок, чтобы в нем искать покоя и

---

* Ну вот, господа, я опустошена! Больше ничего не будет (фр.).

забвения. Такой же страх к жизни и ее треволнениям стараются они внушить и Лиленьке. Но ее манит и влечет к себе эта неизвестная жизнь, от которой до нее доносятся лишь смутные отголоски, как отдаленный плеск волны скрытого за горами моря. Она верит, что есть места,

Где люди живут веселее,
Где жизнью живут, а не ткут паутин.

Но как попасть к таким людям? Незаметно для самой себя Лиленька заразилась предрассудками той среды, в которой живет. Почти бессознательно представляется ей на каждом шагу вопрос: прилично ли барышне так поступать или нет? Ей бы хотелось вырваться из того тесного мира, в котором она живет, но все некомильфотное * и вульгарное ее пугает.

Однажды, на городском гулянье, она знакомится с молодым студентом (разумеется, герой повести того времени должен был быть студентом). Этот молодой человек производит на нее глубокое впечатление, но она держит себя так, как прилично благовоспитанной барышне, и виду не показывает, что он ей нравится, и знакомство их так на этой встрече и обрывается.

Поскучала после этого Лиленька на первых порах, потом успокоилась, и лишь когда случайно среди различных сувенирчиков ее бесцветной жизни, которыми, как у большинства барышень, набиты ящики ее комода, ей попадалась какая-нибудь безделушка, напоминающая этот незабвенный вечер, она торопилась захлопнуть ящик и потом весь день ходила недовольная и угрюмая.

Но вот однажды приснился ей сон: пришел к ней студент и стал ее упрекать, зачем не пошла она за ним. Перед Лиленькой, во сне, проходит ряд картин жизни честной, трудовой, с милым ей человеком, в среде умных товарищей,— жизни, полной теплого, ясного счастья в настоящем и необъятного запаса надежд на будущее. «Смотри и кайся! Такая была бы наша жизнь с тобой!» — говорит ей студент и исчезает.

Проснулась Лиленька и, под влиянием своего сна, решилась пренебречь заботой о том, что прилично для молодой девушки. Она, никогда до сих пор не выходившая из дому иначе, как в сопровождении горничной или лакея, уходит теперь тайком, берет первого попавшегося ваньку и едет в ту дальнюю, бедную улицу, где — она знает — живет ее милый студент. После многих поисков и приключений, обусловленных ее неопытностью и бестолковостью, она находит, наконец, его квартиру, но там, от

* Comme il faut — прилично (фр.).

В. О. Ковалевский (1868-1869 гг.)

жившего с ним вместе товарища, узнает, что бедняга уже несколько дней назад умер от тифа. Товарищ рассказывает, как тяжела была его жизнь, какую нужду он терпел и как в бреду, несколько раз, поминал какую-то барышню. В утешение или в укор плачущей Лиленьке он говорит ей стихи Добролюбова:

Боюсь, чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.
Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской[33].

Вернулась Лиленька домой; никто из ее домашних никогда не узнал, где она пропадала этот день. Но у нее самой навсегда сохранилось убеждение, что она прогуляла свое счастье. Она прожила недолго и умерла, сокрушаясь о даром потраченной молодости, которую и помянуть было нечем[33].

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек, Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей-монахом. Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зрелее[34]. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман, по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто[35].

— А ведь это, пожалуй, и правда! — сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу:— но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился,— прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печальная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история.

Произошло это опять 5 сентября, достопамятный день в летописях нашего семейства. Собралось у нас, по обыкновению, множество гостей. В этот самый день ожидали почту, приходившую к нам в имение всего раз в неделю. Обыкновенно экономка, на имя которой Анюта переписывалась с Федором Михайловичем, выходила встречать почтальона и отбирала от него свои письма, прежде чем он относил почту к барину. Но на этот раз она захлопоталась с гостями; на беду, тот почтальон, который обыкновенно привозил почту, выпил маленько по слу-

чаю барыниных именин, т. е. оказался мертвецки пьяным, и на место него послали мальчика, не знавшего заведенных порядков. Таким образом сумка с почтою попала в кабинет папаши, не подвергшись предварительному осмотру и очищению.

Отцу тотчас бросилось в глаза страховое письмо на имя нашей экономки со штемпелем журнала «Эпоха». Что за притча такая? Он велел позвать к себе экономку и заставил ее открыть письмо в своем присутствии. Можно или, лучше сказать, невозможно представить себе, что за сцена воспоследовала. На беду еще в этом именно письме Достоевский посылал сестре гонорар за ее повести: помнится, триста с чем-то рублей. Это обстоятельство, т. е. что сестра, тайком ото всех, получает деньги от незнакомого мужчины, показалось отцу таким позорным и обидным, что с ним сделалось дурно. У него была болезнь сердца да еще желчные камни в печени; доктора говорили, что всякое волнение для него опасно, может повести к внезапной смерти, и возможность подобной катастрофы была общим пугалом всех членов семейства. При всякой неприятности, которую дети ему причиняли, у него чернело лицо, и нами тотчас овладевал страх, что мы убьем его. А тут вдруг такой удар! И как нарочно — весь дом полон гостями [36].

В этом году в нашем уездном городе квартировал какой-то полк; по случаю маминых именин все офицеры и с ними полковник съехались у нас и, в виде сюрприза, привезли полковых музыкантов.

Именинный обед уже часа три как кончился. В большой зале наверху были зажжены все люстры и канделябры, и гости, успевшие отдохнуть после обеда и переодеться к балу, начали сходиться. Офицерики, пыхтя и тужась, натягивали белые перчатки; воздушные барышни, в тарлатановых платьях и огромных кринолинах, бывших тогда в моде, вертелись перед зеркалами. Моя Анюта в обычное время относилась свысока ко всему этому обществу, но теперь нарядная обстановка, бальная музыка, пропасть света, сознание, что она на балу самая красивая и нарядная, все это опьяняло ее. Забыв свое новое достоинство русской писательницы, забыв, как мало походят эти красные, потные офицерики на тех идеальных людей, о которых она мечтала, она кружилась между ними, улыбаясь всем и каждому и наслаждаясь сознанием, что всем им кружит головы.

Ждали только отца, чтобы начать танцы. Вдруг в комнату вошел человек и, подойдя к маме, сказал ей: «Их превосходительство нездоровы. Просят вас пожаловать к себе в кабинет».

Всем сделалось жутко. Мама поспешно встала и, подбирая рукой шлейф своего тяжелого шелкового платья, вышла из

залы. Музыкантам, ожидавшим в соседней комнате условного знака, чтобы заиграть кадриль, приказали подождать.

Прошло полчаса. Гости начали беспокоиться. Наконец, вернулась мама. Лицо ее было красно и взволнованно, но она старалась казаться покойной и улыбалась принужденно, натянуто. На заботливые вопросы гостей: «что такое с генералом?» она отвечала уклончиво:

— Василий Васильевич почувствовал себя не совсем хорошо, просит вас извинить его и начать танцы без него.

Все заметили, что происходит что-то неладное, но из приличия никто не настаивал; к тому же всем хотелось поскорее танцовать, раз уже собрались и нарядились для этого. И вот танцы начались.

Проходя мимо матери, в фигуре кадрили, Анюта заботливо заглянула ей в глаза и прочла в них, что произошло что-то недоброе. Улучив минутку, в антракте между двумя танцами, она отвела мать в сторону и пристала к ней с расспросами.

— Что ты наделала! Все открыто! Папа прочел письмо Достоевского к тебе и чуть не умер на месте со стыда и отчаяния,— сказала бедная мама, с трудом сдерживая слезы.

Анюта страшно побледнела, но мама продолжала:

— Пожалуйста, хоть теперь сдержи себя. Вспомни, что у нас гости, которые все рады про нас посплетничать. Поди и танцуй, как будто ничего не случилось.

Итак, мать и сестра продолжали танцовать почти вплоть до утра, обе вне себя от страха при мысли о той грозе, которой предстояло разразиться над их головами, лишь только разъедутся гости.

И действительно, гроза разразилась ужасная.

Пока все не разъехались, отец никого не пускал к себе на глаза и сидел, запершись, у себя в кабинете. В антрактах между танцами мать и сестра убегали из залы и прислушивались у его дверей, но войти не смели, а возвращались к гостям, терзаясь мыслью: что с ним теперь, не худо ли ему?

Когда все в доме утихло, он потребовал Анюту к себе и чего-чего только не наговорил он ей. Одна его фраза особенно врезалась ей в памяти:

— От девушки, которая способна, тайком от отца и матери, вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать. Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время — и себя будешь продавать!

Бедная Анюта так и похолодела, услышав эти ужасные слова. Положим, она в душе сознавала, что это вздор; но отец говорил так уверенно, тоном такого глубокого убеждения; его ли-

цо было такое убитое, сокрушенное, притом его авторитет в ее глазах все еще был так силен, что у нее невольно, хоть на минуту, явилось мучительное сомнение: не ошиблась ли она? не совершила ли, сама не сознавая, чего-нибудь ужасного и непристойного?

Несколько дней после этого, как всегда бывало после всякой домашней истории, все в доме ходили, как в воду опущенные. Прислуга сейчас обо всем проведала. Папашин камердинер Илья, по своей похвальной привычке, подслушал весь разговор отца с сестрой и объяснил его по-своему. Весть о случившемся, разумеется, в преувеличенном и искаженном виде, разнеслась по всему околотку, и долгое время спустя между соседями только и было толков, что об «ужасном» поступке палибинской барышни.

Мало-помалу буря улеглась, однако. У нас в семье произошел феномен, часто повторяющийся в русских семьях: дети перевоспитали родителей. Начался этот процесс перевоспитания с матери. В первую минуту, как всегда бывало при столкновениях детей с отцом, она всецело взяла его сторону. Ей стало страшно, что он захворает, и она вознегодовала: как это может Анюта так огорчать отца! Видя, однако, что уговоры не помогают, а что Анюта ходит печальная и обиженная, ей стало жаль и ее. Скоро у нее явилось любопытство прочесть Анютину повесть, а потом тайная гордость, что ее дочь — писательница. Таким образом, ее сочувствие перешло на сторону Анюты, и отец почувствовал себя совсем одним.

В первую минуту, сгоряча, он потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговаривали целыми днями, и сестра не являлась даже к обеду. Мать бегала от одного к другой, уламывая и уговаривая. Наконец, отец сдался. Первым шагом его на пути уступок было то, что он согласился прослушать Анютину повесть.

Чтение происходило очень торжественно. Вся семья была в сборе. Вполне сознавая важность этой минуты, Анюта читала голосом, дрожащим от волнения. Положение героини, ее порывание вон из семьи, ее страдания под гнетом налагаемых на нее стеснений — все это так походило на собственное положение автора, что это каждому невольно бросалось в глаза. Отец слушал молча, не проронив ни слова во все время чтения. Но когда Анюта дошла до последних страниц и, сама, едва сдерживая рыдания, стала читать, как Лиленька, умирая, сокрушалась о даром потраченной молодости, на глазах у него вдруг выступи-

ли крупные слезы. Он встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни в следующие дни, он не говорил с Анютой о ее повести; он только обращался с ней удивительно мягко и нежно, и все в семье понимали, que sa cause était gagnée *.

Действительно, с этого дня в нашем доме началась эра мягкости и уступок. Первым проявлением этой новой эры было то, что экономка, которой отец сгоряча отказал от места, получила свое милостивое прощение и осталась при должности.

Вторая мера кротости была еще поразительнее: отец разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей лично с ним познакомиться [37].

Как уже было сказано, мать и сестра почти каждую зиму ездили в Петербург, где у них была целая колония тетушек, старых дев. Они занимали целый дом на Васильевском Острове и, при приезде матери и сестры, отводили им у себя комнаты две-три. Отец оставался обыкновенно в деревне; меня тоже оставляли дома, на попечениях гувернантки. Но в нынешнем году, так как англичанка уехала, а новоприбывшая швейцарка еще не пользовалась достаточным доверием, то мать, к моей неописанной радости, решила и меня взять с собою.

Выехали мы в январе, пользуясь последним, хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом не легким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе, на почтовых, и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

Сколько приготовлений было к этой дороге! На кухне стряпали и жарили столько вкусных вещей, что их хватило бы, кажется, на целую экспедицию. Повар наш славился во всем околотке своею слойкой, и никогда не прилагал он столько старания к этому делу, как когда готовил сдобные пирожки на дорогу господам.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только мно-

* Что она выиграла дело (фр.).

жеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли собою большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались оружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше. Забудешься на минутку, вдруг проснешься от толчка, и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая,— все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг, ярким лучом, выступит в уме сознание: где мы, куда едем, и как много хорошего, нового предстоит впереди,— и вся душа переполнится таким ярким, захватывающим счастьем!

Да, чудесная была эта дорога! И осталась она чуть ли не самым светлым воспоминанием моего детства[38].

10. ЗНАКОМСТВО С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ[39]

По приезде в Петербург, Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас[40]. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

— Помни, Лиза, что на тебе будет лежать ответственность,— напутствовал он мать, отпуская нас из деревни.— Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою, любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, à bout de ses ressources *, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

— Всегда-то, всегда-то все испортят,— повторяла она, судорожно рыдая.

Бедная мама чувствовала себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

— Вот ты всегда такая: ничем не довольна. Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты нас же винишь,— упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так наперед готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старых, давнишних приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной, никому не интересной, темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивали друг друга, шутили и смеялись.

Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже 43 года!— думала я:— неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

— Какая у вас славная сестренка!— сказал вдруг Достоев-

* Исчерпав свои возможности (фр.).

ский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила Достоевскому, что я пишу стихи: «право, право, совсем недурные для ее лет!» И несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей [41].

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» — было ее первой мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме, и ввиду того, что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала [42].

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой

команды: «стреляй!» — когда вдруг, на место того, забил барабан, и пришла весть о помиловании.

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим[43] ужасом, что мы никогда не решались бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении[44]. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже — о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть бог, есть!— закричал, наконец, Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался. И я почувствовал,— рассказывал Федор Михайлович,— что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог!— закричал я,— и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди,— продолжал он,— и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! «Он,

действительно, был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я[45]. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шопотом. Мы все сидели, как замагнитизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся:

— Не бойтесь,— сказал он,— я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним, действительно, был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии, в мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки: «О мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута: за

минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана и ноет, и ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать: что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно, вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку[46].

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

— Федор Михайлович! Помилосердствуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский,— только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать очень его полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развесть в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет очень блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер, из старой памяти «pour cette pauvre chère Lise» *.

---

* Ради этой милой бедняжки Лизы (фр.).

Общество собралось у нас довольно большое, но очень разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на минутку под конец вечера, однако слова не сдержал)[47]. Был также какой-то очень старый, лысый и очень важный сановник немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

— Она был очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не короша!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных, девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренно робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но, как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренно бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостинной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и

поворачивался к ним спиной. Что всего хуже — он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она попробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение не хорошо. Проходя мимо, якобы нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

— Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

— Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей,— сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов; это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков[48]. Он считался очень блестящим молодым человеком; был красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе — все это как следует, в меру и не чересчур. И карьеру он делал тоже как следует, не нахально быструю, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства. На правах родственника он[49] ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной возможности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую, рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир [в рукописи: полковник], живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые пантолоны, плотно обтягивающие его длинные, стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклонясь над моей

сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною, салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», [в рукописи: идиота], этого «самодовольного нахала». а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен.

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником,— параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет, для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают евангелие.

— Да разве евангелие написано для светских дам [50],— выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский.— Там вон стоит: «Вначале сотворил бог мужа и жену», или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак. А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек?

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный, Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза [51]. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость сказанного и все заговорили разом, желая заглушить ее.

Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам [52], мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но при ее удивительной доброте и мягкости она ни на кого не могла долго сердиться, а всего менее на такого человека, как Федор Михайлович; поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера — точно они вступили в новый фа-

зис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще, и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась [53].

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый, Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить [54].

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

— Да бросьте же шить! — скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье [55].

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

— Где вы вчера были? — спрашивает Федор Михайлович сердито.

— На балу,— равнодушно отвечает моя сестра.

— И танцовали?

— Разумеется.

— С троюродным братцем?

— И с ним, и с другими.

— И вас это забавляет? — продолжает свой допрос Достоевский [56].

Анюта пожимает плечами:

— За неимением лучшего, и это забавляет,— отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

— Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! — решает он наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними

был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды более крайние, чем каких действительно придерживались.

— Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита,— кричал иногда Достоевский.— Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина.

— Пушкин действительно устарел для нашего времени,— спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того, как отношения между Достоевским и моей сестрой, повидимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью,— сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга — она же, нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился тогда Федор Михайлович: — то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не высказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде измене против сестры, и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликование каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

— Вы воображаете себе, что очень хороши,— говорил он

сестре.— А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.

— А ведь, может быть, это и правда,— говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль: как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что̀ сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их на ночь в две косы. Это дело требует времени: волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович! — начинаю я, наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое? — спрашивает сестра рассеянно, очевидно совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой,— говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые, смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную, маленькую, смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаться.

— Бывают разные вкусы! — говорю я сердито.

— Да, бывают странные вкусы! — замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в по-

душку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры»,— думается мне, и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: «Господи, боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищаются Анютой,— сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех talents d'agrément *, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех пор я училась игре на фортепиано, как учится большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и уменье скоро читать по нотам.

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась: вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез.

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу, и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепиано, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathetique ** Бетховена и что эта соната

---

* Изящные, приятные таланты (фр.).

** Патетическую сонату (фр.).

всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно, положив на нее пропасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится,— все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто. Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую, угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.

Но, боже мой, что я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диванчике. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром, тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица, но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволновано. Он держал анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем

страстным, порывчатым шопотом, который я так знала и так любила.

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.

— Это ты, Соня? — окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и еще полуодетая, бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.

Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.

Хотя мне и было всего 13 лет [57], я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет итти так, как шло эти месяцы.

«И вдруг, разом, все, все кончено!» — твердила я с отчаянием и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!

Что̀ такое кончилось, что̀ изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!

«И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?» — упрекала я их с несправедливым озлоблением.

«Ну, и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!» — говорила я себе несколько секунд спустя, но сле-

зы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль.

Время шло. Теперь мне бы хотелось, чтобы Анюта пришла за мной. Я негодовала на нее, зачем она не приходит. «Им дела нет до меня, хоть бы я умерла! Господи! Если бы мне в самом деле умереть!» И мне вдруг стало невообразимо жалко самое себя, и слезы потекли сильнее.

«Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!» — подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась в кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества.

Первые слезы, когда организм еще не привык к страданию, утомляют скоро. Пароксизм острого отчаяния сменился тупым оцепенением.

Из парадных комнат не доносилось до нашей спальни ни единого звука, но в соседней кухне слышно было, как прислуга собиралась ужинать. Стучали ножи и тарелки; горничные смеялись и разговаривали. «Всем весело, всем хорошо, только мне одной...»

Наконец, по прошествии, как мне казалось, нескольких вечностей, раздался громкий звонок. Это вернулись с обеда мама и тетушки. Послышались торопливые шаги лакея, идущего отворять; затем в передней раздались громкие, веселые голоса, как всегда, когда возвращаются из гостей.

«Достоевский, верно, не ушел еще. Скажет ли Анюта сегодня маме, что случилось, или завтра?» — подумалось мне. А вот я и его голос различила в числе других. Он прощается, торопится уйти. Напряженным слухом я могу даже расслышать, как он надевает галоши. Вот опять захлопнулась парадная дверь, и вскоре после этого по коридору раздались звонкие шаги Анюты. Она отворила дверь спальни, и яркая полоса света упала мне прямо на лицо.

Моим заплаканным глазам этот свет показался обидно, нестерпимо ярким, и чувство физической неприязни к сестре внезапно подступило к горлу.

«Противная! радуется!» — подумалось мне с горечью. Я быстро повернулась к стене и притворилась спящею.

Анюта, не торопясь, поставила свечу на комод, потом подошла к моей кровати и простояла несколько минут молча.

Я лежала, не шевелясь, притаив дыхание.

— Ведь я вижу, что ты не спишь! — проговорила, наконец, Анюта.

Я все молчала.

— Ну, хочешь дуться, так дуйся! Тебе же хуже, ничего не узнаешь! — решила, наконец, сестра и стала раздеваться как ни в чем не бывало.

Помнится, мне снился в эту ночь чудесный сон. Вообще это очень странно: когда бы в жизни ни обрушивалось на меня большое, тяжелое горе, всегда потом, в следующую за тем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны. Но как тяжела зато бывает минута пробуждения! Грезы еще не совсем рассеялись; во всем теле, уставшем от вчерашних слез, чувствуется после нескольких часов живительного сна приятная истома, физическое довольство от восстановившейся гармонии. Вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что совершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться.

Много есть в жизни скверного! Все виды страдания отвратительны! Тяжел пароксизм первого, острого отчаяния, когда все существо возмущается, и не хочет покориться, и постигнуть не может всей тяжести утраты. Едва ли не хуже еще следующие за тем долгие, долгие дни, когда слезы уже все выплаканы и возмущение улеглось, и человек не бьется головой о стену, а сознает только, как под гнетом обрушившегося горя у него на душе совершается медленный, невидимый для других, процесс разрушения и одряхления.

Все это очень скверно и мучительно, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности — чуть ли не самые тяжелые из всех.

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее.

Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее, с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его

не было. Вот мы уже и за обед сели, а он не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того, как время шло, а он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала и, не глядя на нее, спросила:

— Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться.

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая», — подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая! — повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом.— Ведь вздумала же влюбиться, и в кого — в человека, который в три с половиной раза ее старше,— сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудили в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила я шопотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

— Вот видишь ли,— начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: — я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю. Он такой добрый, умный, гениальный,— она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце: — но как бы тебе это объяснить, я люблю его не так, как он.. ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж,— решила она вдруг.

Боже! Как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не мо-

гу его полюбить. Он такой хороший. Вначале я думала, что может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить. К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою[58].

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил.

Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» — наивно замечал Достоевский в конце своего письма[59].

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного. Но дорога стерла с души моей последние следы только что пережитой бури.

Уехали мы в апреле. В Петербурге стояла еще зима; было холодно и скверно. Но в Витебске нас встретила уже настоящая весна, совсем неожиданно, в каких-нибудь два дня вступившая во все свои права. Все ручьи и реки выступили из берегов и разлились, образуя целые моря. Земля таяла. Грязь была невообразимая.

По шоссе все шло еще кое-как, но, доехав до нашего уездного города, нам пришлось оставить на постоялом дворе нашу до-

811—2

рожную карету и нанять два плохих тарантасика. Мама и кучер ехали и беспокоились: как-то мы доберемся! Мама главным образом боялась, что отец будет упрекать ее, зачем она так долго засиделась в Петербурге. Однако, несмотря на все аханья и стоны, ехать было отлично.

Помню я, как мы, уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не прикрикивал на лошадей; слышалось только шлепание их подков по грязи да слабое, порывистое бряцание бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебристым светом, да так ярко и так неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего последнего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы, как бы по обоюдному соглашению, прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки попрежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!

1889 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. К РАССКАЗУ О ДОСТОЕВСКОМ

1. [*Дополнения*][60]

Достоевский часто рассказывал нам планы задуманных им романов, а иногда сцены и эпизоды из своего прошлого[61].

— Да, поломала-таки меня жизнь порядком,— говаривал он бывало,— но зато вдруг найдет на нее [причуда] добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает.

Одним из самых светлых воспоминаний Достоевского были, по его словам, воспоминания, связанные с появлением в свет его первого романа «Бедные люди». Начал он его писать очень молодым, еще будучи учеником в инженерном училище, но кончил в 1845 г., года два после выхода в офицеры.

В это время в русской литературе господствовало направление, совершенно противоположное тому, которое за границей привыкли связывать с [понятием] представлением о русских романистах.

[Около 1825 г.] Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии (в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и в знаменитой драме Грибоедова «Горе от ума») и затем достигший такого [полного] блестящего расцвета в сочинениях Гоголя, был на время забыт; вскоре после Пушкина в 1837 г.[62], в литературе проявились совершенно обратные течения. Сам Гоголь впал в мистицизм, граничивший с умопомешательством, отрекся от всех своих прежних убеждений и в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ». В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки и затормозить дело своих великих предшественников. Культ Гения и презрение к толпе было лозунгом этого кружка.

«Все человечество, взятое как целое, глупо и ничтожно,— проповедывали они. Роль толпы — служить лишь удобрением, на котором [в виде пышных цветков] могут вырасти несколько отдельных, выдающихся личностей. Таких избранников судьбы, «гениев», ради которых существует все человечество, является быть может два-три в течение целого столетия; но они составляют «соль земли». Подобно тому, как агава растет сто лет в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распу-

скается пышным цветком, так и миллионы людей [суждено] должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем им из среды себя удается выдвинуть гения. Гений носит в груди своей божественную искру и в делах своих отдает отчет одному богу. Законы обыкновенной нравственности, обязательные для простых смертных, про него не писаны. Толпа должна бежать за колесницей гения, как послушный раб или как влюбленная женщина, и не беда, если колесница эта, в своем торжественном шествии, придавит сотни маленьких, темных людей».

Великий — расти и возвышайся.
А низкий — терпи и умаляйся.

Вот последнее слово, конечный результат этого культа гения.

Понятно, что подобное аристократическое учение было как нельзя более с руки [такому фанатическому поклоннику] «рыцарю самодержавия», как звали иногда императора Николая. Оно освещало и объясняло ему самому смысл его царствования. Поэтому при дворе новый литературный кружок тотчас удостоился благосклонного одобрения, тогда как такие писатели, как Пушкин и Гоголь, только были терпимы.

Душою этого кружка были Сенковский и Кукольник[63], два «гения», творения которых, увы, составляют уже теперь не более как библиографическую редкость, хотя в течение целых десяти лет они пользовались такою популярностью, какой достигали лишь немногие из русских писателей.

Кукольник писал высокопарными стихами душу потрясающие драмы, в которых выводил на сцену титанов в человеческом образе. Сенковский же, под псевдонимом барона Брамбеуса, издал в свет томов двадцать романов, которым никак нельзя отказать в остроумии и богатстве колорита, но которые не затрагивают ни одного простого человеческого чувства. Художническая фантазия была в нем развита до такой степени, что он оставил уже немало описаний путешествий по центральной Азии, по Африке, по Южной Америке, хотя сам, кажется, всю жизнь не выезжал из Петербурга[64].

Впрочем, оба гениальных друга привлекали на себя внимание публики не только своими литературными произведениями, но и всевозможными эксцентричностями своей частной жизни. Весь Петербург интересовался их многочисленными любовными похождениями и теми [удивительными] роскошными пирами, которые они задавали время от времени в редакции издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения»[65].

Этот журнал служил могущественным орудием для распространения взглядов кружка. Были годы, когда он имел до 50 000 подписчиков, цифра, которой никогда ни прежде, ни после не достигал ни один из толстых журналов в России. Его влияние было громадно[66], в провинции, пожалуй, даже больше, чем в самом Петербурге. Он решал судьбу каждого начинающего писателя и либо сразу выводил человека из ничтожества

на путь славы, либо бесповоротно, одним махом пера, клеймил его печатью [идиотизм] бездарности.

В Москве существовала, однако, маленькая горсточка литераторов, сохранивших некоторую самостоятельность. «Последним из могиканов» старых традиций, завещанных Пушкиным и Гоголем, был гениальный критик Белинский, сочинения которого и теперь поражают глубиною анализа и верностью взгляда. Но голос его долго был гласом вопиющего в пустыне.

Наконец, около 1845 г., в среде молодежи все более и более стал назревать протест против господствующего в Петербурге аристократического направления литературы. Поверхностность и неудовлетворительность теорий, проповедуемых партией «Библиотеки для чтения», стала сказываться все яснее, а осязательность и законность присвоенного ей себе патента на гениальность стала казаться все более и более сомнительной.

В воздухе чувствовались уже предвестники близкой перемены. Все жаждали нового слова, новых пророков. В это время к Белинскому явился однажды еще молодой человек Некрасов, которому предстояло сделаться в будущем одним из величайших русских поэтов [67].

Однако он сам еще не отдавал себе сознательного отчета в том громадном даре, которым наделила его природа, и который не нашел еще своего направления. Он явился к Белинскому не с тетрадью стихов, а с кипою ассигнаций, полученных им от отца, богатого помещика [68]. На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник», главная задача которого будет состоять в том, чтобы бороться против «Библиотеки для чтения» [69].

Белинский согласился с радостью, но теперь представился вопрос, где подобрать подходящих сотрудников, откуда взять свежие, молодые силы. После блестящего периода Пушкина, Лермонтова и Гоголя в литературе произошел застой, продолжавшийся притом около 10 лет. Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный, писал повести [70], Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский — все кончили свои годы учения, ни один из них еще не выступил на литературное поприще [71], поэтому вопрос о сотрудниках сильно затруднял новых издателей.

Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник» [72]. Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз

в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих «Бедных людей»,— почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь,— рассказывал Достоевский своим приятелям,— провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда [терпеть] выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так — вдруг слышу звонок.

«Кто бы это мог быть в такую пору?»

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то по настоящему не был, знал их только в лицо.

Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись — так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов [как рассказывал мне потом Григорович] стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит,— мы разбудим его: это выше сна».

«Поймите вы, поймите, что для меня такой их порыв значил,— говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании.— У иного успех, ну, хвалят его, встречают, поздравляют. А, ведь, они прибежали со слезами, в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!» [73]

Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут»,— с неудовольствием заметил Белинский.

Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.

Стихотворение С. В. Ковалевской (черновой автограф)

«Шел я к нему с трепетанием сердца,— рассказывал [мне] Достоевский,— и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»

И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не знал, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: «Господи, да неужели же я и в самом деле так велик?» [74]

Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен (Искандер) [75]. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым, правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.

В публике [проявился] теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились. Идеи свободы [в политической жизни России], равенства, братства народов носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.

В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро характер политический.

Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общею организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой. Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замышляли.

Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него [общество] должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь [76].

Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой

таинственностью, чтобы не сказать [неразб.], но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный: например, можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или — идет ли православная религия с идеями Фурье?

Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и кроме того знал о предположении завести тайную типографию.

И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы [77].

23 апреля 1849 г. был роковой день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы [78].

«В эту самую минуту (рассказывал Достоевский) проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мною товарищу [79]. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей [80].

Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят...

Я помню, что я очень испугался, но в то же время решился не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу [81] о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого; зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.

На эшафот вошел священник и предложил кому хочет исповедываться. Никто не захотел, исключая одного [82], но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.

Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».

Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы *думать про себя*. Мне все хотелось представить себе — как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже *нечто*, *кто-то* или *что-то* совсем другое.

С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню — я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти — моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними [83]. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.

Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ни-

чего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.

Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможно ли было...» [84]

2. Любовь 14-летней [85]

...пополняла и развивала в фантазии многие из тех эпизодов его жизни теми, о которых он только вскользь упоминал, и сама переживала с ним мысленно [86]. Но о будущем она никогда не думала. Настоящее было так прекрасно, богато и полно. Нет сомнения, что, если бы Достоевский мог заглянуть ей в душу и прочитать ее мысли, догадаться хоть наполовину, как глубоко ее чувство к нему, он был бы тронут тем безграничным восторгом, который она к нему испытывала. Но в том-то и беда, что увидеть это было не легко. На вид Таня была совсем еще ребенком.

Если бы Достоевский мог заглянуть в танину душу, он бы наверное был глубоко тронут тем, что там бы увидел; но в том-то и заключается главное несчастие того переходного возраста, которое переживала Таня: чувствуешь в это время глубоко, почти как взрослый, а выражается всякое чувство смешно, по-детски, и трудно догадаться взрослому о том, что происходит в душе иной 14-летней девочки. Таня понимала Достоевского. Чутьем догадывалась она, сколько в душе его заложено чудных, нежных порывов. Она благоговела не только перед его гениальностью, но и перед теми страданиями, которые он вынес. Ее собственное одинокое детство, постоянное сознание, что она в семье менее любима, чем другие, развили ее внутренний мир гораздо сильнее, чем это обыкновенно бывает у девочки ее лет. С самого раннего возраста сказывалась в ней потребность к сильной, исключительной, всепоглощающей привязанности, и теперь с той интенсивностью, которая составляла сущность ее характера, она сосредоточила все свои мысли, все силы своей души на восторженном поклонении первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути.

Она постоянно думала о Достоевском. Оставаясь одна, она повторяла мысленно все сказанное им в течение их последнего [каждое его слово, каждая наудачу брошенная им мысль принимала в ее глазах особое значение, старалась понять тайный], придавала глубокий смысл каждому его слову, старалась понять [вникнуть], развить каждую наудачу брошенную им мысль. Именно своеобразность этих мыслей, богатство и новизна вызванных ими в ее воображении картин и представлений пленяли ее более всего. Случалось ей тоже предаваться по поводу Достоевского самым фантастическим мечтаниям, но странное дело — мечтания эти всегда касались прошедшего, а не будущего. Так, например, она целыми часами сидела, бывало, и представляла себя самое на каторге вместе с Достоевским. Она [переживала мыс]...

II. ПИСЬМА С. В. КОВАЛЕВСКОЙ И А. В. ЖАКЛАР К Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ И ЕГО ЖЕНЕ[87]

1. [Петербург] Четверг вечером [1876][88].

Не сердитесь, друг мой Федор Михайлович, за то, что не написала вам сегодня вечером, как обещалась; я вернулась домой слишком поздно, чтоб иметь возможность послать к вам.

Имя девицы, о которой вы обещались похлопотать, Вера Сергеевна Гончарова (она племянница жены Пушкина). Просьба ее в том, чтоб ей дозволили свидание и переписку с ее женихом Павловичем[89]. Прошу вас еще заметить, что упомянутая особа не предполагает, чтоб ее сестра, о которой я вам говорила, могла находиться теперь в Петербурге. Итак, надеюсь на Вас, что Вы будете так добры и передадите эту просьбу Кони[90].

Благодарю Вас заранее. От души Вам преданная

Софья Ковалевская

Передайте мой поклон Анне Григорьевне. Каждый раз, как я поговорю с ней, начинаю все больше и больше ее любить.

2. [Петербург, 1876—1877].

Милый Федор Михайлович!

Как это меня огорчает, что Вы все хвораете. Я по Вас очень соскучилась и несколько раз уже собиралась заехать к Вам; только меня удерживала мысль, что Вы, вероятно, теперь очень заняты, и я, пожалуй, попаду некстати. Это же соображение удерживает меня и теперь; поэтому буду ждать, когда Вы выберете свободный вечерок и придете ко мне.

Главное, поправляйтесь поскорее и воздерживайтесь от излишней, особенно ночной, работы. Я пишу это Вам, хотя сама отлично знаю, что это совсем бесполезно. Жму Вашу руку и жду с нетерпением.

Преданная Вам *Софья Ковалевская*

Мой поклон Анне Григорьевне.

У меня как-то на-днях тоже была лихорадка; я долго не могла успокоиться, и мне все вспоминался один ваш рассказ из вашего будущего романа о «Мечтателе»[91]. Я даже мысленно все развивала вашу идею, и мне бы ужасно хотелось, чтоб Вы написали что-нибудь в этом роде. Я представляю себе так: человека бедного, живущего очень уединенно, сосредоточенною жизнью и состарившегося на какой-нибудь машинально-умственной работе (например, хоть счетчика при обсерватории). Вследствие каких-нибудь внешних обстоятельств в нем развивается непреодолимое желание разбогатеть во что бы то ни стало. Он начинает выслеживать способ для этого с тою же терпеливою одностороннею последовательностью, с которою всю жизнь вычислял пути планет. И вот ему на ум приходит что-нибудь вроде «адских часов» Томаса[92]. Целые годы придумывает он и усовершенствует детали своей машины; наконец, она готова, и он пускает ее в дело. При этом мысль о его жертвах, о тех людях, которые должны погибнуть от его машины, совсем ему как-то в голову не приходит. Даже мысль о богатстве отступает на второй план. Он просто влюблен в свою машину; его математическую, помешанную голову пленяет именно та точность, с которою она действует; ему нравится, что он может вычислить минута в минуту, когда корабль пойдет ко дну. Корабль с машиною отплывает; старик как-то совершенно успокаивается. В самый вечер катастрофы он даже ни разу не вспоминает о машине; вдруг он чувствует внутреннее сотрясение; смотрит на часы — настала минута. И вот тут ему вдруг отвратительно ясно становится, что он сделал. Старик, конечно, сходит с ума. Но дальше фантазия моя уже нейдет.

Еще раз прощайте.

Преданная *С. Ковалевская*

3. [Петербург, февраль 1877][93]

Милый Федор Михайлович!

К сожалению, я не буду сегодня дома. У меня вчера умерла старая тетушка, и мне необходимо быть сегодня при выносе ее тела.

Как ужасно жаль, что в тот вечер, когда заходила ко мне Анна Григорьевна, я тоже не была дома.

Завтра, в часу четвертом, я собираюсь зайти к Вам; авось хоть кого-нибудь из Вас застану; но если у Вас будет дело, то не стесняйтесь и не ждите меня.

Преданная вам

Софья Ковалевская

4. [Петербург], Пятница [1876—1877]

Милый Федор Михайлович!

Так как Вы собирались побывать у меня в последних числах этого месяца, то я хочу предупредить Вас, что сегодня (пятница) я не буду дома. Завтра же (суббота) и, вероятно, все первые дни будущей недели буду проводить вечера дома.

До свидания. Жму Вашу руку.

Преданная вам

Софья Ковалевская

5. [Петербург, май 1877]

Посылаю вам, любезный Федор Михайлович, некоторые издания Владимира Онуфриевича, которые, может быть, представят для Вас некоторый интерес [94]. Посылаю также книжку «Русского вестника», но так как она не моя, а Суворина [95], то потрудитесь вернуть ее дня через два, если к тому времени успеете прочесть Анну Каренину [96].

Я вырезала для Вас фельетон, подписанный IV, но, кажется, он не особенно интересен [97].

Жду Вас как можно скорее.

Преданная вам

Софья Ковалевская

6. [3 февраля 1881] Москва. Петровские линии № 9. [98]

Многоуважаемая, дорогая
Анна Григорьевна!

С каким чувством глубокой, невыразимой скорби прочла я в газетах известие о смерти Федора Михайловича, я и высказать Вам не могу. Хоть я убеждена, что Вам теперь не до писем и не до соболезнований, но Вы, верно, не рассердитесь на меня, что я не могу утерпеть и сказать Вам, что та глубокая и искренняя привязанность, которую я с самого детства питала к Вашему мужу и которую я теперь невольно переношу на всех близких и дорогих ему, делает меня вполне участницею в Вашем горе.

Дорогая, голубушка, Анна Григорьевна, поверьте, что Вы имеете во мне очень преданного друга, и если когда-нибудь Вам встретится надобность в таком, то я буду очень счастлива, если Вы вспомните обо мне. Я не пишу Вам больше сегодня, так как боюсь надоесть вам длинным письмом в такую минуту, но я надеюсь, что Вы найдете как-нибудь свободную минутку написать мне о себе самой и о Ваших детях.

Память о дорогом покойнике никогда, никогда не изгладится из моего сердца, и хотя в последние годы мы, повидимому, и не были так близки с

ним, как прежде, но я никогда не переставала чувствовать к нему самой живой привязанности и самого глубокого благоговения. И Вы и дети Ваши кажутся мне теперь очень близкими существами, и я надеюсь, что, в память о нем, не будете смотреть на меня, как на чужую.

Я живу теперь в Москве, и как я скорбела, что не могла взглянуть в последний раз на его милое лицо, я и сказать Вам не могу.

Простите, голубушка, за это письмо и дайте знать о себе и о детях вполне преданной Вам *Софье Ковалевской.*

На конверте: Ее высокородию Анне Григорьевне Достоевской. С.-Петербург. Угол Ямской и Кузнечного пер., д. № 2—5, кв. 10. Штемпеля: Москва, 3 февраля 1881. Петербург. 4 февраля 1881.

7. [Петербург] 29.IX [11.X] 1878[99].

Дорогая моя Анна Григорьевна!

Я очень запоздала с ответом на Ваше доброе, прекрасное письмо и теперь очень боюсь, что оно уже не застанет Вас в Старой Руссе. Но дело в том, что письмо Ваше пропутешествовало напрасно в деревню, где уже не нашло нас и было нам отправлено в Петербург, куда мы вернулись ранее назначенного срока. Французская хрестоматия, которую мы издали и корректуру которой хотели держать в деревне, потребовала нашего немедленного возвращения, и уже в первых числах августа мы снова водворились в нашем прежнем местожительстве на Васильевском острову. С тех пор, покончив с сильно приевшейся хрестоматиею[100], я отдалась своим литературным занятиям, как говорят французы: «J'ai mis en train différentes choses» * и это даже, говоря откровенно, было — как Вам и не покажется странным,— одною из причин моего молчания. Во-первых, я очень сильно сожалела об отсутствии Федора Михайловича, к которому так всегда и тянет обратиться за советом, прежде нежели предпринять что-нибудь, а во-вторых, уже раз решившись попытаться на свою ответственность, хотелось бы уже выйти из нерешительности прежде, нежели писать таким друзьям, как Вы, от которых не хотелось бы утаивать о близко касающихся предметах. А все же, как видите, не утерпела — и написала или, вернее, пишу.

Не знаю, поймете ли Вы это сбивчивое и неясное разъяснение, но во всяком случае, надеюсь, поймете одно,— что, несмотря на молчание, помнила, думала, любила Вас беспрерывно и неизменно и глубоко, глубоко была тронута Вашим дорогим письмом.

---

* Я пустила в ход разные дела (фр.).

Вот уже и приближается время Вашего возвращения. Вы, пожалуйста, известите меня о Вашем новом адресе. Да, кстати,— неужели Вы опять думаете забираться так далеко? Неужели не переселитесь поближе? Вы видите, как я бесцеремонно ставлю наш Васильевский остров в центр, употребляя выражение «поближе», но мне нет дела до топографической верности в этом случае,— я только желаю достигнуть одной цели — уговорить Вас поселиться поближе от нас[101].

Анна Григорьевна! Подумайте, как бы это было прекрасно! Ведь мы с Вами занятые люди; сколько раз и хотелось бы, и порываешься съездить навестить, поговорить по душе,— а подумаешь об расстоянии, о времени, которое на это потребуется, и отложишь до более свободного времени. А кроме того, с петербургским климатом, с нашим неважным здоровьем, сколько раз нездоровье, усталость могут служить помехою видеться. А тут, если б жить поближе, как хорошо можно было бы устроиться! И детки бы наши виделись, и мы бы могли бы покрепче, поближе сойтись, не только «душевно», как теперь, но и всем обменом общих впечатлений и житейских забот и мелочей, которые наполняют жизнь и ближе скрепляют дружбу. Подумайте об этом, дорогая моя, и постарайтесь устроить как можно лучше. А главное, не забудьте известить меня, как только приедете, чтоб я могла навестить Вас.

Не пишу много, надеюсь — теперь не долго дожидаться Вашего приезда. Ведь Вы знаете, что со мною церемониться — грех, не дожидайтесь, чтоб у Вас все было бы «устроено», чтоб дать мне знать,— только назначьте время, когда менее обеспокою.

Обнимаю Вас, дорогая моя, хорошая, милая Анна Григорьевна. Кланяйтесь и крепко пожмите руку дорогому Федору Михайловичу. Передайте ему, как я сильно желаю его видеть, послушать, что он расскажет про свое путешествие[102]. Мне также хочется многое передать ему. Деток Ваших дорогих обнимаю от души.

Преданная Вам

Анна Жаклар-Корвин.

29 сентября 1878 г.
Васильевский остров, 6-я линия, № 15.

На конверте: Ее Высокоблагородию Анне Григорьевне Достоевской. В Старую Руссу. Новгородская губерния.

Штемпеля: Петербург 30 сентября 1878.

На папке рукою А. Г. Достоевской: «Жаклар-Корвин Анна Васильевна, писательница, б. невеста Фед. Мих. Достоевского».

III. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

1. *Жизненный путь* [103]

София Корвин-Круковская родилась в 1851 г.[104] в Москве от отца Василия, генерал-лейтенанта русской армии, и матери Елизаветы из семьи Шуберт; оба еще живы к моей душевной радости. Свое родовое имя я сменила на имя доктора философии Владимира Ковалевского, став его женой в 1868 г. Воспитана в греко-католической вере. Раннее детство я проводила то в Петербурге, то в Палибине — деревне отца и потому не была отдана в школу, но начальное образование получила у домашних учителей.

Затем, пятнадцати лет от роду, я особенно пристрастилась к математике — началам геометрии и аналитической арифметики. Изучала также начала дифференциального и интегрального исчисления. Чтобы полностью отдаться изучению этих излюбленных мною наук, я поехала в 1868 г. в сопровождении мужа в Гейдельберг. Здесь с любезного дозволения тогдашнего проректора университета Коппа мне было разрешено принимать участие в математических занятиях, и в продолжение трех семестров я слушала лекции по математике и физике у Дю-Буа-Реймона, Гельмгольца, Кирхгофа и Кенигсбергера. Кроме того, Кирхгоф и Кенигсбергер разрешили мне посещать их семинары по физике и математике...[105]

Оттуда я в октябре 1870 г. перебралась в Берлин, и так как там по университетскому уставу мне не было позволено присутствовать на лекциях, то я встретилась с необыкновенной отзывчивостью Вейерштрасса, который помогал мне в течение четырех лет своими советами и влиянием, причем не только сообщал мне те знания, которые он обычно передает всем слушателям, но также щедро делился со мною многим из того, что им еще не опубликовано...

Намереваясь возвратиться в отечество, осмеливаюсь по совету моего... учителя[106] представить славному философскому факультету Геттингенского университета первые плоды моих занятий — два исследования, из которых одно относится к теории дифференциального уравнения с частным производным, другое касается некоторой физико-математической проблемы. По оценке их прошу присудить мне высшую научную степень.

2. Письмо декану факультета[107]

Берлин, июль 1874

Милостивый государь!

Позвольте мне прибавить еще несколько слов к присланному мною в Ваш факультет прошению о присуждении мне звания доктора философии.

Мне было не легко решиться на шаг, который должен был вывести меня из состояния неизвестности, в котором я до сих пор находилась. Только одно желание доставить удовольствие близким мне людям, желание дать им настоящее понятие о себе, убедить их в том, что я действительно серьезным образом и небезуспешно занималась математикою, которую изучала исключительно по любви, без всяких посторонних целей, заставило меня отбросить в сторону все колебания[108]. Этому способствовало и полученное мною сведение, что я, как иностранка, могу быть признана Вашим факультетом в звании доктора и in absentio *, если только представленные мною работы будут сочтены удовлетворительными и если я вместе с тем представлю и свидетельства о своих занятиях от компетентных лиц.

В сущности — надеюсь, что вы не перетолкуете в дурную сторону мое откровенное признание — я и сама не знаю, хватит ли у меня уверенности и самообладания, необходимых для examen rigorosum **; я боюсь, что необычайность обстановки, среди которой мне придется отвечать на вопросы совершенно незнакомых мне лиц, напротив того, приведет меня в страшное смущение, несмотря на мое убеждение в любезной снисходительности гг. экзаминаторов. К этому нужно еще прибавить, что я не вполне свободно владею немецким языком, когда дело идет об устном выражении своих мыслей, хотя, с другой стороны, я привыкла употреблять его при моих математических занятиях и пишу на нем удовлетворительно, когда у меня есть достаточно времени для обдумывания своих фраз. Это мое неумение говорить по-немецки происходит от того, что я всего пять лет тому назад принялась за изучение этого языка, из которых четыре прожила в Берлине в полном уединении, так что только в часы, уделяемые мне моим многоуважаемым учителем, имела случай слышать немецкую речь и говорить по-немецки.

На основании всего этого я осмеливаюсь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою оказать мне свое любезное содействие в деле освобождения меня от examen rigorosum.

3. Автобиографический рассказ[109]

Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь припомнить, следующим образом. У меня был дядя, брат моего

---

* В отсутствии (лат.).

** Строгого экзамена (лат.).

отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский, живший в 20 верстах от нашего имения, в своем селе «Рыжаково». Человек уже пожилой, он все свое хозяйство передал своему единственному сыну и, имея много свободного времени, часто приезжал к нам и живал у нас по целым месяцам.

Дядя был в полном смысле слова идеалист и во многих отношениях человек, что называется, не от мира сего [110]. Образование он получил домашнее, но, тем не менее, обладал очень обширными и разнообразными, хотя, как и большинство самоучек, недостаточно солидными познаниями, которые приобрел исключительно благодаря своей любознательности, без всякой посторонней помощи и с самой неосновательной элементарной подготовкой.

Любимым его занятием и единственным наслаждением, которое ему осталось от жизни, было чтение. В этом отношении его привлекала наша деревенская библиотека.

Он читал без разбора и с одинаковым удовольствием все, что попадалось под руку,— и романы, и исторические очерки, и научно-популярные статьи, и ученые трактаты.

От природы чрезвычайно доброго и мягкого характера, он до безумия любил детей. При этом, хотя в то время и 60-летний старик, он сам обладал душою ребенка.

Таким образом, несмотря на разницу наших лет, у меня завязалась с дядею самая тесная, почти товарищеская дружба. Меня тянули к нему его рассказы; он же, витая всегда в области фантазии, зачастую забывал, что перед ним ребенок, и, чувствуя необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, изливал передо мною свою душу. Как теперь помню многие и долгие часы, которые мы проводили вместе в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и библиотека.

Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но, главным образом, он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать.

И вот, в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление.

Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.

Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения.

Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев нехватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности... все откладывали в долгий ящик. А время, между тем, шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочно за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в Палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления.

Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записки лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской.

В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное,— я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное.

Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А. Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: «Вы так поняли, как будто знали это наперед». И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.

Первоначальным систематическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. Это было так давно, что я теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием. Но несомненно, что

они произвели на меня большое влияние и имели важное значение в моем развитии [111].

В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что в первое время, когда я начинала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. По всей вероятности, благодаря влиянию дяди Петра Васильевича, меня более занимали разные отвлеченные рассуждения, например о бесконечности. Да и вообще, в течение всей моей жизни, математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда представлялась мне наукою, открывающею совершенно новые горизонты.

Кроме арифметики, Малевич преподавал мне также элементарную геометрию и алгебру. Только ознакомившись несколько с этою последнею, я почувствовала настолько сильно влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами.

Увидя во мне такое направление, отец мой, имевший вообще сильное предубеждение против ученых женщин, решил, что надо прекратить мои уроки математики у Малевича. Однако мне удалось кое-как выпросить у Иосифа Игнатьевича книгу «Курс алгебры Бурдона», который и стала прилежно изучать.

Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу под подушку и затем, когда все засыпали, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась по целым ночам.

При таком положении вещей я, разумеется, не смела мечтать о продолжении правильных занятий моим любимым предметом, и моим математическим познаниям, вероятно, надолго пришлось бы остановиться в пределах алгебры Бурдона, если бы мне не помог следующий случай, побудивший моего отца несколько изменить свой взгляд на мое образование.

Наш сосед по имению, профессор Тыртов, привез нам как-то свой элементарный учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему огорчению, в отделе об оптике встретила тригонометрические формулы, синусы, косинусы, тангенсы.

Что такое синус? Перед этим вопросом я становилась втупик и для разрешения загадки попробовала обратиться к Малевичу. Но так как это не входило в его программу, то он ответил мне, что не знает, что такое синус [112]. Тогда, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить сама. При этом, по странному совпадению, я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадут друг с другом. А так как у Тыртова во все формулы входили только бесконечно малые углы, то, при взятом мною основном определении, эти формулы отлично сходились. На этом я и успокоилась.

Затем, через несколько времени, когда у меня зашла речь с Тыртовым по поводу его книги, то он сперва усомнился в том, чтоб я могла ее понимать, и на мое заявление, что я прочла ее с большим интересом, сказал: «Ну, вот и хвастаетесь». Но когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем. Тогда, после некоторого колебания, отец мой согласился взять мне в учителя А. Н. Страннолюбского, с которым мы вслед за тем принялись успешно за работу и в течение зимы прошли аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления.

В следующем году я вышла замуж за В. О. Ковалевского и вскоре после этого мы уехали за границу, но там снова разъехались в разные стороны. Я отправилась в Гейдельберг, чтобы продолжать занятия математикою, а он поехал в другой университет учиться своей специальности — геологии...

Из Гейдельберга я поехала в Берлин, но тут на первых порах меня встретило разочарование... Столица Пруссии оказалась... отсталою. Несмотря на все просьбы и старания, мне не удалось получить в Берлине разрешение посещать университет.

Тогда... во мне принял участие... профессор Вейерштрасс. Благодаря отзыву обо мне гейдельбергских профессоров, а также видя, что я имею хорошую подготовку и серьезно желаю учиться, а не просто из пустой моды, он предложил мне заниматься со мною частным образом. Занятия эти имели в высшей степени важное влияние на всю мою математическую карьеру. Они окончательно и бесповоротно определили то направление, которому я следовала в дальнейшей научной деятельности, и все мои работы сделаны именно в духе вейерштрассовских идей.

Самого Вейерштрасса я считаю одним из величайших математиков всех времен и бесспорно самым замечательным из ныне живущих. Он дал всей математике совершенно новое направление и создал не только в Германии, но и в других странах целую школу молодых ученых, которые идут по намеченному им пути и развивают его идеи.

Слушая лекции Вейерштрасса, я в то же время стала готовиться к достижению докторской степени. Но так как двери берлинского университета были для меня, как для женщины, закрыты, то я решила обратиться в Геттинген.

По правилам немецких университетов для получения степени доктора требуется, кроме экзамена, еще представление научной работы, так называемой «Inaugurale dissertation» *.

Вейерштрасс предложил мне для разработки несколько тем, и я за два года своего пребывания в Берлине, вместо одной, требуемой по прави-

* Вступительная диссертация (фр.).

лам работы, сделала целых три, а именно: по чистой математике — «О дифференциальных уравнениях с частными производными», «О приведении некоторого класса Абелевских функций к функциям эллиптическим» и третью астрономическую — «О форме колец Сатурна».

Все эти работы я и представила в геттингенский университет. Они были признаны настолько удовлетворительными, что университет, вопреки установившимся правилам, нашел возможным освободить меня от экзамена и публичной защиты диссертации, что в сущности составляет только одну формальность, и прямо присудил мне степень доктора философии — «Summa cum laude» *.

В то же время первая из упомянутых моих работ, под заглавием: «Zur Theorie der partiellen Differenzialgleichungen» ** была напечатана в журнале Крелля (Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik) ***. Это честь, которой удостаиваются далеко не многие математики и которая для начинающего ученого очень велика, так как этот журнал в то время считался самым серьезным математическим изданием в Германии. В нем тогда принимали участие лучшие научные силы, а в прежние времена в нем помещали свои труды такие ученые, как, например, Абель и Якоби. Моя астрономическая работа «О форме колец Сатурна» была напечатана лишь много лет спустя, а именно в 1885 г., в журнале «Astronomische Nachrichten» ****.

В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что меня еще научно несколько поддерживало,— это переписка и обмен мыслей с моим милым учителем Вейерштрассом [113].

В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое [114]. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Вскоре после моего возвращения в России возникла газета «Новое время». Мой муж был хорошо знаком с издателем газеты, и мы, таким образом, попали в кружок «Нового времени». Я пробовала в этой газете свои литературные силы в качестве театрального рецензента [115].

---

* С высшей похвалой (лат.).

** К теории дифференциальных уравнений (нем.).

*** Журнал Крелля для чистой и прикладной математики (нем.).

**** Астрономическое обозрение.

В 1882 г. я опять уехала за границу и с тех пор живу там почти постоянно,— только изредка, на короткий срок, приезжаю по делам в Россию.

За свою жизнь я перебывала во многих городах и странах, так что могу сказать, что, за исключением Италии и Испании, с Европой знакома хорошо. Всего же лучше, кроме Швеции, я знаю Париж. Там я была много раз, да и теперь, большею частью, провожу свои каникулы во Франции.

Вернувшись за границу, я снова энергично принялась за науку, от которой отдыхала столько лет в России. Прежде всего я поехала в Париж, где познакомилась с тамошними выдающимися математиками, между прочим с знаменитым Hermite'ом, а также из молодых с Poincaré и Picard'ом. Эти два последние, по моему мнению, самые талантливые из нового поколения математиков во всей Европе.

Тогда же я принялась за новую большую работу «О преломлении света в кристаллах». Вообще в математике на самостоятельные исследования, в большинстве случаев, приходится наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых. Так и я была наведена на эту тему изучением работ французского физика Lamé.

Моя работа была доведена до конца в 1883 г. и произвела некоторое впечатление в математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще не достаточно разъяснен; я же рассмотрела его с другой, совершенно новой точки зрения.

Этот свой мемуар я поместила в 1884 г. в молодом, начавшем только с 1882 г. свое существование, журнале «Acta Mathematica». Хотя «Acta» и издаются в Швеции, но тем не менее это издание вполне международное, так как оно получает субсидию не только от шведского короля, но и от иностранных государств, в том числе от французского правительства, а также от Германии, Дании и Финляндии. В настоящее время [1890 г.], по ученому значению, это один из самых крупных математических журналов. В нем состоят сотрудниками самые выдающиеся ученые всех стран и затрагиваются самые, так сказать, жгучие вопросы, которые всего более привлекают внимание современных математиков. При этом часто бывает, что одним и тем же вопросом занимаются несколько человек зараз. Вообще условия издания серьезного математического журнала совсем иные, чем других периодических изданий. Поэтому и «Acta Mathematica» выходят в свет не в заранее определенные сроки, а по мере того, как накопляется материал, назревают новые вопросы и являются их решения. Обыкновенно в год выходит два тома.

Кроме моей работы «О преломлении света в кристаллах», в «Acta Mathematica» помещены и некоторые другие мои статьи, в том числе, в 1883 г. там напечатана вторая из представленных мною еще в 1874 г. в Геттингенский университет диссертация «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим».

Стихотворение С. В. Ковалевской (чистовой автограф)

Все мои ученые труды написаны на немецком или на французском языках. Я владею ими наравне с родным русским. Но в математических работах язык играет весьма несущественную роль. Тут главное — содержание, идеи и понятия, а затем для выражения их у математиков существует свой язык — это формулы.

В начале 1880-х годов в Швеции стал развиваться недавно основанный там Стокгольмский университет. В эту пору я была уже достаточно известна в математическом мире как своими работами, так и через личное знакомство почти со всеми выдающимися европейскими математиками. Особенно часто приходилось мне встречаться и в Берлине и в Париже с главным математиком и нынешним ректором Стокгольмского университета, профессором Миттаг-Лефлером, одним из лучших учеников нашего общего учителя Вейерштрасса.

И вот в 1883 г. меня пригласили в Стокгольм читать лекции математики. По поводу этого я хочу сказать несколько слов об истории возникновения молодого Стокгольмского университета.

До тех пор в Швеции был древний университет в Упсале, существующий уже несколько сот лет. Он страдает теми же недостатками, которые замечаются почти во всех старых университетах в маленьких городах. В них жизнь как будто застыла и все осталось в том же виде, как было несколько столетий тому назад. Профессора живут там совершенно замкнутою, почти средневековою жизнью, которая мало способствует развитию новых плодотворных идей.

При этом неизбежным образом является, как и в русских провинциальных университетах, некоторое кумовство, и профессора тянут друг друга за руку.

Во избежание всего этого стала ощущаться потребность в призыве новых сил, и общественное мнение, которое в Швеции имеет весьма большое значение, стало требовать основания университета в столице. Хотя в Швеции жизнь вообще чрезвычайно проста, но там есть много богатых людей, которые охотно жертвуют крупные суммы на общественные дела. Лишь бы было сочувствие в обществе, а средства найти легко. Этот факт невольно поражает всякого иностранца, приезжающего в Швецию. Почти о всяком тамошнем учреждении приходится слышать, что оно возникло на частные пожертвования.

То же было и с Стокгольмским университетом. В числе причин, заставлявших желать учреждения нового университета, немаловажное место занимало также и неудобство для многих семейств, живущих в Стокгольме, посылать молодых людей, сравнительно довольно далеко от себя, в Упсалу.

Таким образом, сперва дело имело чисто индивидуальный характер. Несколько лиц соединились и общими силами стали собирать необходимые средства. Но затем, когда общественное мнение стало высказываться силь-

нее, то и правительство, а главным образом городская дума решили принять участие в общем деле и постановили принять на себя половину всех необходимых расходов. При этом, однако, правительство не взяло на себя роли распорядителя судьбою будущего университета, и вопрос о том, как ему следует развиваться, был предоставлен самому обществу.

С самого начала за основную идею было принято, что университет должен быть свободен. За образец были взяты немецкие университеты, в которых преподавание ведется совершенно свободно. Там, например, для слушания лекций совсем не требуется представления документов. Впоследствии, для получения степени доктора, надо представить различные документы; но слушать лекции может беспрепятственно всякий, внеся за это известную установленную плату. При этом к слушанию лекций допускаются и женщины на совершенно одинаковых правах с мужчинами.

Экзамены, имеющие повсеместно такое важное значение, здесь не обязательны. К тому же в настоящее время сам университет не достиг еще полного своего состава (пока открыты только два факультета) и до этого не имеет права выдавать ученых степеней.

Преподавание не делится, подобно тому как в России, на курсы с определенною программою, а дело ведется применительно к контингенту слушателей.

Часто к нам приезжают, чтобы слушать лекции и пользоваться советами профессоров,— и такими слушателями мы всего более дорожим,— лица, бывшие уже в других высших учебных заведениях и даже получившие ученые степени, например в Упсале, Лунде. Много молодых людей приезжает также из Финляндии: из них некоторые — кандидаты Гельсингфорсского университета, и даже некоторые из лучших наших учеников были финляндцы.

Учебный год распадается на два семестра, разделенных друг от друга каникулами. За несколько времени до начала каждого семестра мы, профессора, собираемся и обсуждаем, какие лекции назначить на предстоящий семестр.

В настоящее время в Стокгольмском университете насчитывается свыше 200 слушателей, мужчин и женщин. Из этого числа в прошлом году около 1/3 принадлежали к лучшим шведским фамилиям. Вообще наша университетская молодежь великолепная, и отношения студентов между собою и к профессорам самые задушевные.

Многие из наших бывших учеников уже принялись за самостоятельную деятельность. Так, двое состоят доцентами в Гельсингфорсском университете, а один читает лекции в Высшем техническом училище. Также одна наша ученица получила место преподавателя в старших классах мужской гимназии и теперь дает уроки 15—16-летним юношам.

В первое время после моего приезда в Швецию я предложила на выбор читать лекции по-немецки или по-французски. Большинство слушателей пожелало, чтобы я читала по-немецки. Но через год я уже была в

состоянии читать лекции по-шведски. Это не представило для меня особенных трудностей, так как по приезде я сразу попала в шведское общество и стала брать уроки шведского языка.

На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем через год меня назначили ординарным профессором, которым я и состою с 1884 г.

Кроме чтения лекций на мне лежит также обязанность участвовать в заседаниях совета, и я имею право голоса наравне с прочими профессорами. Жалованье ординарному профессору у нас полагается 6 000 крон в год (крона на немного больше германской марки: 700 крон — 1 000 франков). Я читаю четыре лекции в неделю, т. е. два дня по два часа подряд. Так как я излагаю очень специальные вопросы, то слушателей у меня не особенно много: человек 17—18.

За год моего пребывания в Швеции я много и серьезно работала. Между прочим, там я написала самую важную из моих математических работ, за которую получила премию от Парижской академии наук. В этой работе я исследовала вопрос «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести». Он имеет весьма большое значение и, между прочим, обнимает собою теорию маятника. В то же время это один из самых, так сказать, классических вопросов в математике. К его решению прилагали усилия величайшие умы, в том числе Эйлер, Лагранж и Пуассон.

Но, несмотря на это, он еще далеко не решен вполне, и мы знаем только немного случаев, для которых найдено вполне строгое его математическое решение.

Вообще в истории математики можно указать на немного вопросов, которые подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего решения и к которым было бы приложено столько же лучших сил и упорного труда, не приводивших, в большинстве случаев, к существенным результатам. Не даром среди немецких математиков он носит название «Die mathematische Nixe» *.

Эта задача всегда сильно меня интересовала, и я уже с давних пор, чуть ли не со времен своего студенчества, стала пробовать над нею свои силы. Но долгое время все мои труды оставались бесплодными, и только в 1888 г. усилия мои увенчались успехом. Поэтому можно себе представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед.

В том же 1888 г. Парижская академия наук назначила конкурс на соискание премии, которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела». При этом было поставлено непременным условием, чтобы в сочинении были усовершенствованы или допол-

* Математическая русалка (нем.).

нены в каком-либо существенном отношении добытые до настоящего времени знания в этой области механики.

В то время я уже достигла главных результатов моей работы. Но пока они были еще только у меня в голове. А так как вопрос, который я решила, вполне подходит к заданной Парижскою академиею теме, то я еще с бо́льшим усердием принялась за работу, чтобы успеть к назначенному сроку привести в порядок весь материал, разработать детали и написать это сочинение.

Когда все это было благополучно окончено, я послала свою рукопись в Париж. При этом, по условиям конкурса, она должна была быть послана анонимно, т. е. я написала на ней девиз и затем приложила к ней запечатанный конверт, внутри которого было мое имя, а сверху надписала тот же девиз. Таким образом, при оценке представленных работ авторы их оставались неизвестными.

Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15-ти, но достойною премии была признана моя. Но этого мало. В виду того, что та же тема задавалась уже три раза подряд и каждый раз оставалась без ответа, а также вследствие важности достигнутых мною результатов, академия постановила назначенную первоначально премию в размере 3 000 франков увеличить до 5 000 франков.

После этого был вскрыт конверт, и все узнали, что я автор этого труда. Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по этому поводу заседании академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями.

Как я уже сказала раньше, я поселилась в Швеции с 1883 г. и за это время так освоилась с тамошнею жизнью, что чувствую себя там, как дома.

Стокгольм — очень красивый город, и климат в нем довольно недурен, только весна бывает неприятна.

У меня большой круг знакомых, и мне приходится часто бывать в обществе. Даже езжу ко двору.

Что касается шведского общества, то я должна сказать, что образованная часть его мало отличается от общества петербургского...

Отличительная черта шведов — чрезвычайное добродушие и мягкость, которые развивались у них, я думаю, потому, что в их истории никогда не было гнета...

Всего яснее проявляется национальный характер в отношениях Швеции к Норвегии. Первая в большинстве случаев делает уступки последней, так что Норвегия, которая некогда была присоединена к Швеции, в настоящее время признана во всех отношениях равноправною...

29 мая 1890 г. СПб

С. В. Ковалевская
рожден. Корвин-Круковская.

4. *Автобиографическая запись*[116]

Многоуважаемый Михаил Иванович! Ваше посещение сегодня так живо вызвало в моей памяти образы прошлого, что не взыщите на меня, если я ни о чем ином не могу написать на страницах вашего альбома, как о нашем первом знакомстве с вами. Когда это было? В каком году? Теперь я с точностью и припомнить не могу.

Во всяком случае много, много лет прошло с тех пор. Но стоит мне закрыть глаза и подумать об этом времени,— целая картина так и рисуется в моем воображении.

Старый помещичий дом в таком медвежьем уголке, что надо чуть ли не двое суток скакать на почтовых, прежде чем доберешься до ближайшей станции железной дороги.

Патриархальная генеральская семья. Отец, в сущности добрый и любящий, но из принципа окружающий себя в глазах домашних ореолом строгости и неприступности. Англичанка-гувернантка, тщетно силящаяся превратить двух простых русских девочек в чопорных, благовоспитанных мисс.

Одна из этих девочек еще подросток, другая уже взрослая барышня, впечатлительная, талантливая, с жадностью прислушивающаяся к каждому отголоску внешнего мира, какой ни залетит в их медвежий — генеральский уголок. Окружающая ее жизнь бледна и однообразна. Нет в ней ни интересов, ни волнений, кроме тех, которые она почерпает из книг. Герои и героини ее любимых романов ближе, реальнее для нее всех окружающих ее будничных людей.

Но кто пишет эти чудные книги? Мир писателей кажется ей чем-то таким прекрасным, но далеким, что, думая о нем, она испытывает то же чувство, какое испытывал серый утенок в сказке Андерсона, когда видел белых лебедей, парящих высоко над ним в воздухе...

И вдруг разносится известие, что в их захолустье, к ним в гости, приедет писатель, настоящий известный писатель *. Об этом писателе ходит много толков. Старшие, т. е. отец и гувернантка, уже наперед относятся к нему несколько недоброжелательно, с безотчетным страхом, как к представителю чуждой среды, к носителю каких-то новых идей. Зато старый учитель уже успел порассказать о нем много интересного и симпатичного.

В глазах молоденькой деревенской барышни приезд писателя принимает размеры чуть ли не мирового события. Поверницею всех своих мечтаний по этому поводу она выбирает маленькую сестру-подростка, и вы не поверите, сколько было разговоров об этом писателе между сестрами, украдкой от строгой гувернантки.

---

* М. И. Семевский.

Много, много прошло с тех пор лет. Для старшей сестры жизнь оказалась злою мачехою. Ее блестящие дарования никогда не достигли полного развития. После многих лет скучной деревенской жизни вырвалась она, наконец, на волю, но действительность мало походила на ее ожидания.

Ряд разочарований, долгая, мучительная болезнь и в конце концов для нее...

...О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез... [117]

Младшая сестра-подросток теперь уже тоже пожилая женщина. И для нее жизнь пошла не обычной колеей. Много в ней было и хорошего, и худого; но стóит ей вспомнить то старое, доброе время — и кажется — все это лишь вчера было...

Софья Ковалевская.

9 мая 1890 г. СПб.

IV. ПИСЬМА С. В. КОВАЛЕВСКОЙ К РАЗНЫМ ЛИЦАМ[118]

1. *В. О. Ковалевскому*[119]

25 июля [6 августа]. Палибино [1868]

Надеюсь, что Вы уже теперь в Петербурге, хороший Владимир Онуфриевич! Без Вас очень скучно в Палибине, но я много занимаюсь и надеюсь, что шесть недель пройдут себе как-нибудь. Мы с Анютой целый день сидим в своей комнате; я почти уже кончила первый лист переводов и повторила довольно много из химии, но больше всего занимаюсь математикой. Следовательно, не беспокойтесь, чтобы я обогнала Вас в других предметах.

После Вашего отъезда мы уже получили одно, сверхсчетное, письмо от Жанны[120]; узнав о благополучном окончании сватовства, она тотчас же написала нам; но нового у нее ничего не случилось и о хороших людях[121] она не имела известий.

Вы можете себе представить, с каким нетерпением мы ожидаем теперь писем от Вас, хороший брат[122]. Если в субботу или воскресенье Вы поедете к Жанне, как собирались, то в будущую субботу мы уже узнаем об этом.

Как Ваши дела? Воображаю себе, как Вы, бедный, суетитесь теперь, чтобы наверстать потерянное время. Не забудьте написать, пришло ли Ваше письмо во-время и вообще не случилось ли каких неприятностей. Без Вас пришло два письма на Ваше имя, которые мама отправит к Вам сегодня. Уж не от Марьи ли Александровны[123] заграничное?

Не ленитесь писать нам. Мне позволили писать Вам даже без цензуры[124]. Каково? Но я не знаю, будут ли читать Ваши письма; во всяком случае я сама буду открывать их, поэтому приложите *P. S.*

С отцом мы видимся только за обедом и ужином, и эти краткие свидания проходят в том, что отпускаем друг другу колкости; впрочем я больше отмалчиваюсь.

Отъезд мамы и Анюты в Петербург решен на 11-е. До тех пор Жанна уж, верно, устроит у Вас хоть одно свиданье с П. Тк.[125], так что и

Вам придется с ним познакомиться. Я бы ужасно хотела знать, как Вы его найдете. Нового у нас не случилось ничего; впрочем, случилось большое горе, а именно: наш прелестный, огромный красный червяк прогрыз картонную коробку, в которую мы его посадили, и скрылся; эта потеря тем еще чувствительнее, что в коробке мы нашли много желтой паутины, так что, вероятно, он уже собирался превращаться в куколку. Аквариум наш в жалком состоянии; особенно много развелось этих белых, гадких червяков; почти только они одни еще и остались в живых. Друзья благоденствуют. Единственный друг здоров. В болоте за садом кричит болотная курица; вот Вам все наши новости.

Крепко, крепко жму Вашу руку, хороший, дорогой брат! Анюта хочет приписать Вам несколько слов; она читает теперь Little Dorrit[126] и жалеет, что мы лучше это не выбрали, чтобы читать с Вами; я теперь не читаю романы, а оставляю их для дней моего уединения, т. е. когда Анюта будет в Петербурге.

Не забывайте и пишите.

Сестра Ваша *Софья Крюковская.*

Принялись ли Вы уже за изучение Баденских и Штутгардтских окрестностей[127]? Не теряйте времени. Мне сегодня надо писать еще послание тетушке и дяде Феде.

Знаете ли, какая интересная личность живет в Невеле и ужасно жалела, что Вас не видела? Как бы думали? — Ваша кормилица. И рассказывала, что никогда ей не приходилось видеть такого плаксивого ребенка, как Вы. Она, верно, захочет поглядеть на Вас в сентябре. Вы непременно должны узнать ее и тем поддержать втентичность* ваших ранних воспоминаний.

Прощайте.

Мама ужасно беспокоилась о какой-то банке варенья, которую Степан из excès de zêle** сунул Вам в мешок, и поручила мне спросить Вас, не случилось ли у Вас в мешке плачевной каши.

Вот я и всю страницу исписала, Анюте и места не осталось писать: впрочем, интересного и не было ничего писать. Поэтому кланяюсь Вам от ее имени и уже окончательно и в последний раз прощаюсь сама.

2. *А. В. Корвин-Круковской*[128]

[Петербург] Вторник, 17 [29] сентября [1868].

Милые, дорогие и неоценимые мои сестры!

Сегодня приехали мы в Петербург в 12 часов; мне нечего говорить тебе, как счастлива я была въезжать туда; это совершенно новое чувство

---

* Втентичность, аутентичность — подлинность, достоверность (греч.).

** Избытка усердия (фр.).

въезжать в Петербург свободно, не в гости, а домой, для начала хорошей труженической жизни, о которой мы мечтали все эти годы; это чувство ты очень легко поймешь, и я сознаюсь, что в первую минуту оно совершенно охватило меня.

Но затем мне стало очень горько, когда я подумала, что вы, мои милые, славные сестры, и особенно ты, чудная Анюта, с которой мы всегда мечтали вместе обо всем этом, теперь в Палибине, одни, в одиночестве, в скуке,— а я, которая до сих пор разделяла с вами все: и скуки и радости, одна на свободе и счастлива тем счастьем, которое до сих пор возможно было только в мечтах.

Квартира наша такая прелесть, что я просто была поражена; Марья Александровна (о ней подробно расскажу в своем месте) убрала ее еще больше, и я ужаснулась, увидев мою спальню. Где моя темная, маленькая гейдельбергская келья? — но все это не ушло. В марте все это перейдет к Сусловой[129], а моя крепкая, навеки нерушимая, ничем незаменимая привязанность к вам и усидчивая работа помогут мне не избаловаться.

Милая Анюта, теперь ты мне нужна больше, чем когда-либо; пиши мне, дорогая моя, больше, больше; мысль о тебе не должна оставлять меня ни на минуту; я знаю, что тебе очень, очень тяжело, но ради Христа люби меня крепче, крепче; ведь не моя вина, что я счастлива и неравнодушна к этому счастью. Все это так ново, так соблазнительно хорошо для меня, что я могу только удерживать себя, вспоминая о тебе и о нашем последнем прощаньи в маминой комнате за ширмами; одна моя молитва, чтобы идеал мой сохранился так же чист и неприкосновенен, как во время нашего горя и одиночества.

Прежде всего брат показал мне ту немецкую книгу, которую ты, Анюта, хочешь переводить. На твою долю осталось 80 страниц. Завтра брат вышлет их тебе в письме вместе с некоторыми, уже подобранными листами, так что ты получишь их уже в субботу. Я совсем не успела просмотреть ее, но прочитаю всю, так как у брата два их экземпляра.

На квартире мы уже нашли записку от Боковой, которая заходила поутру и пригласила нас к обеду; это изменило наши планы на день, и в четыре часа мы отправились к ней, так как я решительно не устала с дороги; я думаю, что это самостоятельность так поддерживала меня.

Я решительно не знаю, что сказать вам об этом вечере, мои чудные, милые сестры. Я должна сознаться, что этот вечер был очень весел, но все-таки то чувство одиночества, о котором ты говорила, Анюта, теперь совершенно понятно для меня, и мне было бы очень грустно, если б было возможно быть грустной, начиная завтра новую жизнь и имея надежду, что через месяц наверное увижусь с вами, и вы будете так же счастливы, как я.

Но расскажу все подробно. За обедом сидели Марья Александровна, Сеченов, Петр Иванович, который положительно мне очень нравится, и как бы вы думали кто? Белоголовый, который очень удивился, увидев меня[130].

Я сначала была очень сконфужена в этом августейшем обществе и скромно молчала. Все, разумеется, были очень милы и приветливы со мной, но я не знаю, почему эта приветливость заставила меня еще более дичиться и скалить скулы; впрочем, это совершенно понятно. Петр Иванович рассказал мне о Страннолюбском, который в Петербурге и в отчаянии, что я не послушалась его советов, но говорит, что с наслаждением станет давать мне уроки.

В присутствии Белоголового мы не разговаривали ни о будущих занятиях, ни о чем порядочном. Я тем более конфузилась, что нам, по каким-то соображениям, показалось приличнее сказать ему, что наша свадьба была 11-го, и эта ложь заставляла нас путаться во всех наших рассказах и постоянно приводила нас в замешательство [131]. После обеда Марья Александровна повела нас к себе, а Петр Иванович ушел к своим больным.

Сеченовские [132] лекции начинаются завтра; итак, завтра, в 9 часов утра начинается моя настоящая жизнь. Ты можешь себе представить, с каким трепетом и в каком волнении я ожидаю этой важной для меня минуты. Поэтому я пишу тебе сегодня вечером, а завтра успею приписать только две строки, возвращаясь с лекции, на которую меня поведут торжественно брат, Петр. Ив. и дяденька (т. е. знаменитый Петинька) через заднюю лестницу, так что есть надежда укрыться от начальства и любопытных взглядов.

Затем мы распорядимся о будущих занятиях таким образом: мы будем заниматься в физиологической лаборатории Сеченова, анатомией у Грубера, математикой у Страннолюбского и физикой еще не решено у кого.

Сначала и Сеченов и Марья Александровна очень восставали против моей идеи ехать в Гейдельберг, но мы с братом, разумеется, стоим на своем. Сеченов очень дельно советует выдержать экзамен гимназический здесь в Петербурге; это тем необходимее для нового университета, где и без того будут придираться. Итак, сделай одолжение, вышли мне при первой возможности все книги по истории и географии, которые найдешь в Палибине.

О тебе и Жанне разговаривали много, но, разумеется, толку из этого не вышло. Я спрашивала у брата, что он думает; вообще мы много говорили с ним и рассуждали о вас и о способе освобождения. Теперь скоро должно уясниться, решится ли Сеченов или совсем напраспа эта надежда. Боже мой, что бы я дала, чтобы будущую среду написать вам что-нибудь утешительное.

Вот что мы решили с братом: прямо предложить или даже намекнуть об деле Марье Александровне и Сеченову — невозможно. Мы наверное сблизимся с Сеченовым и тогда спросим его об докторах [133]. Это не только вернее, но по-моему, да конечно и по-твоему, и желательнее Сеченова. Тяжело принимать услуги от людей, с которыми никогда не сойдешься вполне.

Мы все горюем с братом, что он не магометанин. Вот было бы чудно [134]. 15-го октября он приедет за тобой наверное; он уже уговорился с

содержателем гостиницы о карете, которую ему дадут за десять рублей.

Тебя должны отпустить. Брат очень верно говорит, что мы избаловались; действительно, мы, считавшие некогда бегство единственным исходом, теперь вдруг не выдержим сцены с родными, когда брат и экипаж у крыльца, а право бесспорно на нашей стороне. К этому времени у нас должно быть приготовлено что-нибудь для тебя и Жанны, а в это время ты займешься усердно переводом и писаньями.

О чудная, чудная Анюта! Будь добра и верь в судьбу и в ее справедливость, хоть для тебя кажется покуда, что она была жестока и несправедлива.

Кажется, я все подробно описала тебе. Завтра припишу слова два; брат также будет писать. Теперь уже 11 часов, а завтра я должна встать в 7. Следовательно, прощайте, мои чудные, милые, несравненные сестры.

Вся ваша *Софья Крюковская.*

Середа, 11 часов утра [18—30 сентября]

Сейчас вернулись с лекции. Все произошло благополучно. Студенты вели себя превосходно и не глазели; была еще одна незнакомая нам дама. Завтра и послезавтра также лекции. Обнимаю вас. Нельзя писать больше. В пятницу опишу все подробно.

Ваша *Софа.*

Запишу лекцию, покуда свежо в памяти. Сеченов читал о крови. Не забудь прислать книги по истории и географии [135].

Приписываю несколько строк, потому что нужно ехать в почтамт, а теперь уже 11-ть часов. Как видите, дело началось; не тоскуйте и будьте уверены, что и с Вами все устроится. Присылаю сегодня же перевод; а посылаю часть переведенную, чтобы Вы знали, о чем идет речь. Надо перевести от страницы 212 до конца; остальное уже переведено. Всю остальную книгу, а также несколько других пошлю посылкою.

Прощайте, жму Вашу руку. Поцелуйте от меня руки maman и поклонитесь Вас. Вас.

Ваш брат *Вл. Ковалевский.*

(Яун был министром, выгнавшим Фогта из Гессена и университета) [136].

3. *Ю. В. Лермонтовой* [137]

[Петербург] Воскресенье 19 [31] января [1869]

Все это время я надеялась получить хоть несколько строк от Вас, милая Юлия Всеволодовна. Но Вы, кажется, совершенно меня забыли и потому я хочу сама напомнить о себе, так как короткое знакомство с Вами

произвело на меня слишком сильное и приятное впечатление для того, чтобы я не постаралась продолжить и скрепить его. Общность наших занятий, вкусов и возрастов — все это заставляет меня думать, что между нами может быть крепкая и прочная дружба, и я надеюсь, что мы виделись с Вами в Петербурге далеко не в последний раз.

От времени до времени я получаю известия о Вас от кузины Вашей Оленьки; я слышала от нее, что последнее время вы сильно хлопотали об устройстве подготовительных курсов в Москве; здесь в Петербурге также устраиваются везде курсы и лекции. Говорят, хотя это еще не верно, что в одной из мужских гимназий устраивается параллельный курс и для девочек.

Это, конечно, будет чрезвычайно полезная мера; в ожидании же будущих благ большинство подготовленных женщин бегут за границу, и в Цюрихе учатся уже восемь женщин.

Я сама жду, не дождусь, когда могу буду ехать за границу; и как бы я хотела, Юлия, учиться там вместе с Вами; я не могу себе представить более счастливой жизни, как тихой скромной жизни в каком-нибудь забытом уголке Германии или Швейцарии между книг и занятий. Я думаю, что и для Вас такая жизнь представляется верхом благополучия.

Но, прощайте, милая Юлия Всеволодовна. Пишите мне, прошу Вас, и не забывайте совершенно.

Муж мой шлет Вам низкий поклон.

Ваша *Софья Ковалевская.*

4. *Ю. В. Лермонтовой*[138]

[Петербург] Вторник 18 [30] марта [1869]

Это последнее письмо, которое я пишу Вам из Петербурга, милая Юлия; через несколько дней я буду в Москве, хотя совсем не утешаю себя мыслью, что Вас так и отпустят со мною за границу после этого. Поэтому не мучайтесь и не воображайте себе, что сделались моею неоплатною должницею за эту незначительную услугу. Вот как я думаю сделать: выеду я из Петербурга в пятницу 21 марта; где остановлюсь, не знаю еще наверное: в гостинице или у одних знакомых в Москве. Подумайте, как нам устроить, чтобы всего полезнее употребить те двое суток, которые я проведу в Москве?

Я думаю, что было бы отлично, если бы Вы могли встретить меня у железной дороги (я выеду из Петербурга в пятницу с утренним поездом и потому приеду в Москву в субботу в 9 часов утра). Подумайте, как бы устроить это; мне было бы очень приятно переговорить с Вами одной, прежде чем явиться к Вам в дом[139]. При этом надо бы было только опасаться, что мы по близорукости проглядим друг друга. Итак, устройте

это, если возможно, а о дальнейших планах мы условимся лично. Сегодня же я отправлю Вам официальное письмо; теперь это необходимо.

У нас в Петербурге ужасно скверно. Студенты Медицинской академии затеяли бунт, и результатом было, конечно, то, что Медицинскую академию заперли, на место доброго Нарановича начальником назначили мерзавца Козлова, 60 студентов арестовано, некоторые из них уже высланы в дальние губернии; но что для нас всего печальнее — это то, что женщин, которых было уже совсем пустили в академию, теперь, конечно, снова выгонят. Это все ужасно грустно и тем грустнее, что причина всей истории самая ничтожная [140].

Не буду больше писать Вам сегодня, так как скоро обо всем переговорим лично.

Ваша *С. К.*

P. S. Для того, чтобы Вы легче могли заметить меня в толпе, если придете на железную дорогу, то я скажу Вам, как буду одета: я буду в черном шелковом салопе, белом башлыке и серой шапке. Я забочусь об этих мелочах, зная, что как Вы, так и я очень близоруки, и я, по крайней мере, трудно запоминаю лица.

5. Ю. В. Лермонтовой [141]

[Гейдельберг] 28—16 апреля [1869]

Милая Юленька!

Пишу вам, вернувшись с первой лекции в Гейдельберге. Я думаю, вы начинали уже приходить в нетерпение, не получая от меня так долго писем; но я не могла писать вам раньше, потому что только вчера решилась моя судьба.

Из Петербурга мы поехали на Вену, где я тотчас же отправилась к профессору физики Ланге, прося его пустить на свои лекции. Он позволил это довольно охотно; вероятно, и другие профессора сделали бы то же, но, несмотря на это, я все-таки не решилась остаться в Вене, потому что для меня это было бы неудобно во многих отношениях; во-первых, математики там очень плохи; во-вторых, жить там очень дорого; поэтому прежде, чем решиться на Вену, я захотела попробовать счастье в Гейдельберге...

Я отправилась туда одна с сестрой, а Владимир Онуфриевич остался в Вене, так как мне все-таки пришлось бы вернуться туда в случае неудачи. В первый день я почти пришла в отчаяние, так худо повернулись мои дела. Профессора Фридрейха, с которым я несколько была знакома лично, не было в это время в Гейдельберге. Я пошла к Кирхгофу (физику); это маленький старик, ходит на костылях; изумился такому не-

обыкновенному желанию женщины и объявил, что от него нисколько не зависит допустить меня, а что я должна спросить позволения у проректора университета Коппа.

К этому времени возвратился из путешествия профессор Фридрейх; это было большое для меня счастье; он отнесся к моей просьбе с сочувствием и дал от себя карточку к проректору. Этот последний, в свою очередь, объявил, что не берет на себя дать такое неслыханное позволение, а что предоставит это на волю профессоров.

Я снова поплелась к Кирхгофу; он сказал, что со своей стороны будет рад иметь меня в числе своих слушателей, но что надо еще переговорить с Коппом. Вы можете себе представить, как мучительны такие проволочки и полуответы. На следующий день Копп объявил мне новое решение: он представит мое дело на обсуждение особой комиссии. Опять пришлось ждать сложа руки.

Я узнала, что про меня в Гейдельберге собирают сведения; одна барыня, которую я в глаза никогда не видала, рассказала про меня профессору, что я вдова. Его, конечно, поразило такое разноречие с моими собственными словами; пришлось посылать к нему Владимира Онуфриевича, который в это время успел приехать в Гейдельберг, чтобы убедить их, что у меня, действительно, есть муж, что для них казалось очень важным. Наконец, комиссия решила допустить меня к слушанию некоторых лекций, а именно математики и физики. Это было все, чего мне только надо было, и сегодня я начала мои занятия [142].

Теперь у меня 18 лекций в неделю, и этого вполне достаточно, так как бо́льшая часть моих занятий все-таки дома. Одно досадно, что позволение дано мне только в виде исключения, так что осенью, когда вы приедете, надо будет начинать ту же историю; конечно, второй раз уже будет легче первого.

Воображаю себе, с каким нетерпением ждете Вы осени, милая Юленька. Только, чтобы не раздумали Ваши родные. Впрочем, теперь мне, право, кажется, что отступление от их слова будет для них довольно трудно. Пишите мне скорее и опишите подробно, чем теперь занимаетесь. По горькому опыту я советую вам побольше обратить внимания на немецкий язык; я теперь испытываю неудобства не довольно хорошо знать его: лекции слушать мне совершенно легко, потому что научный немецкий язык мне хорошо знаком, но когда приходится разговаривать с профессорами, то я всегда чувствую себя очень стесненною.

20 апреля — 2 мая.

Это письмо я уже начала несколько дней тому назад, но не успела послать его в тот самый день, а потом все не находила времени кончить его. Я очень занята, хожу на лекции, студенты ведут себя отлично и не показывают и вида, что их изумляет присутствие женщины [143]...

Я также с нетерпением жду осени. Как нам отлично будет здесь с вами. Вам здесь заниматься будет очень хорошо; физиологию вы будете

слушать у Гельмгольца, а химиею заниматься у Бунзена; у этого последнего особенно хорошо вам будет; мне говорили, что он целый день возится со студентами, работающими в его лаборатории, и только по вечерам находит время для собственных работ[144]. Вообще, по всему, что я слышала о Бунзене, это, кажется, просто удивительный человек.

Прощайте. Обнимаю вас крепко и жду с нетерпением. Засвидетельствуйте мое почтение вашим родным. Я забыла сказать вам, что сестра моя теперь со мною в Гейдельберге, но завтра уезжает в Париж, где верно пробудет до начала июля.

Ваша *Софья Ковалевская.*

6. *А. О. Ковалевскому*[145]

[Петербург] Суббота, 14 [25] ноября 1875 г.

Милый Александр Онуфриевич!

Вчера получили мы Ваше длинное письмо и так как, во-первых, Володя вряд ли успеет ответить Вам сегодня, а во-вторых, так как в вашем письме многое относится лично до меня, то я хочу сама написать Вам и представить наше положение так, как оно представляется мне самой. Вы очень удивляетесь тому, как Вы говорите, спекулятивному направлению, которое овладело нами обоими, но оно развилось у нас по необходимости. Вот как стоят наши дела: я получаю теперь в год немного более 900 руб., Володя же, не обижая Вас, что он и без того слишком долго делал, может рассчитывать максимум на 600 р. с имения, что вместе с 600 р. приват-доцента составляет 2100 р. в год, и в ближайшем будущем не предвидится ничего большего.

Пока мы жили за границею, нам этих средств было достаточно, но, вернувшись в Россию, мы серьезно занялись вопросом: каким образом следует нам поступать далее, для того чтобы устроить нашу общую жизнь как можно полнее и счастливее. В математике мы поставили бы этот вопрос таким образом: имеется известная функция (в данном случае — наше счастье), которая зависит от очень многих переменных, а именно: и от средств, и от возможности заниматься научною работою, и от возможности житья в приятном месте и в приятном обществе и т. д. Каким образом определить отношение между этими переменными так, чтобы данная функция, т. е. счастье, достигла своего максимума?

Нечего и говорить, что решить этот вопрос математически мы не могли, но простыми рассуждениями мы пришли к следующему результату: во-первых, мы решили без крайней нужды не брать для Володи места в провинции, так как то, что мы бы выиграли там в обеспечении и во времени для научных работ, не окупало бы для нас лишения всякого приятного общества и для меня лично отчуждение от всех моих родных и

близких друзей. Затем представлялась возможность, оставаясь в Петербурге, предаться исключительно научным занятиям, ограничиваясь нашими небольшими средствами и могущими встретиться случайными заработками на переводах и т. п. Этот план имел, правда, те неудобства, что, во-первых, мелкие лишения, проистекающие от чересчур ограниченных средств, становятся тем несноснее, чем дольше продолжаются, а во-вторых, что зарабатывание денег переводами, уроками и т. п. берет и много времени и à longue * с ума может свести человека от скуки. Все же мы бы, вероятно, решились на этот способ действия, если бы нам не представлялось ничего другого.

Но в данном случае дело стоит вот как: Володя потратил лучшие годы своей молодости на издания и, как говорят здесь единогласно все Fachkenner **, вел дело очень недурно и, вероятно, достиг бы прекрасных результатов, если бы, по недостатку выдержки и потому, что я в то время была неразумным, ничего не смыслящим в житейских делах птенцом, не бросил дела в самую горячую минуту на произвол судьбы. Это была, конечно, большая ошибка, но, рассмотрев по возвращении все дела, Володя пришел к убеждению, что положение все-таки не отчаянное и что, посвятив года два на приведение дел в порядок, он с большою вероятностью может рассчитывать выручить из них, за уплатою всех долгов, тысяч 10, по крайней мере. В виду этого, ну как же было ему не приняться серьезно за эти дела?

Я знаю, что вы смотрите на издательство вообще весьма мрачно, но мне кажется, что вы в этом немного предубеждены и что относительно володиных изданий цифры говорят довольно ясно, надо только иметь терпение. Вы также совсем несправедливо обвиняете его, что он и теперь бросается в разные стороны; это не так; кроме Брэма (народного издания и 5 и 6 тома большого), Володя издал только маленькую книжку Кунце, которая идет хорошо и уже доставила Володе возможность уплатить некоторые издержки по народному Брэму.

В том скверном переводе, над поправкою которого мы теперь трудимся общими силами, Володя не виноват: он был сделан под присмотром Евдокимова еще в то время, когда мы были за границей.

Я с моей стороны имею большое доверие к умению Володи вести дела, если только он действительно предастся им, и очень бы охотно дала бы ему на них мои деньги, но только ни мама, ни сам Володя не согласны на это. Мне крайне досадно, и самому Володе очень тяжело, что ему пришлось просить у Вас часть залоговой суммы; он клянется всеми святыми, что к тому времени, когда они Вам понадобятся, вернет их вам, заложив Брэма.

Теперь мы хотим просить Вас, не согласитесь ли Вы на следующее:

---

* При длительности (фр.).

** Знатоки дела (нем.).

Автограф письма С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому. Дата — рукою В. О. Ковалевского

у меня, собственно говоря, моих денег нет, но мама согласна дать мне тысяч до 15-ти на покупку дома, так как все говорят, что во всяком случае выгоднее иметь дом, чем 5% бумаги. Не будете ли Вы согласны, если Вам представится выгодный дом близ университета, за который сверх долга надо приплатить тыс. 15—17, купить его вместе со мной. Что дома теперь выгодно покупать в Одессе, это кажется несомненным, а для нас, в числе других удобств, в этом устройстве было бы и следующее: Вы бы тогда из моих денег вернули себе те 2½ тыс., которые взял у вас Володя, а я бы уж рассчиталась потом с ним. Пожалуйста, напишите поскорее, согласны ли вы на это предложение и имеется ли в виду подобный дом.

Вот какое я Вам деловое письмо написала, Александр Онуфриевич.

Здоровы ли вы все и как поживают ваши детки? Я вам очень завидую, что у вас есть такая славная, большая Верочка. Марья Александровна много нам о ней рассказывала и говорила, между прочим, что она просто красавица; но это, впрочем, и по карточке видно.

Мы читали недавно в газетах, что у вас теперь в Одессе омерзительная погода и свирепствует тиф и дифтерит; впрочем, и у нас не лучше, и мы все или больны или переболели. Моя мать и сестра обе в сильном гриппе, Володя кашляет и по вечерам хрипит, но тем не менее продолжает разъезжать целые дни, несмотря на все мои уговоры. Я тоже проболела все первое время и, между прочим, очень страдала зубами.

Теперь прощайте, милый Александр Онуфриевич, и отвечайте нам поскорее.

Кланяйтесь от меня Тане и поцелуйте деток.

Искренно Вам преданная *Софа.*[146]

Мой дорогой дружок, ты не поверишь, как я благодарен тебе за твою заботливость обо мне; даже не получив моей формальной просьбы, ты уже выслал мне деньги, которые я получил и, в случае сильной нужды для покупки дома, достану, обратно заложив народного Брэма. В новые издания я не лезу и Бургера оставил, так что кончаю V и VI томы Брэма, что необходимо сделать и что своим 2-м изданием (а ведь первых четырех томов разошлось более 6000, то надо надеяться, что имеющие уже 4 тома дополнят его V и VI-м) даст мне хлеб.

Я советую тебе избегать покупки земли, это может быть убитыми деньгами, и если возможно купить дом недалеко от университета, то, я думаю, с устройством Медицинского факультета цены возрастут. Не говорю тебе об осторожности, ты в письмах показал ее достаточно.

Ты говоришь: не трать эти деньги на жизнь,— за это нечего бояться. Даже прошлый год, когда нам надо было вести все свое хозяйство, я послал ровно 700 р. своих, т. е. все полученное от Гизберта, за рисунки Брэма; в нынешнем же году мы платим 300 р. за квартиру и

на хозяйство вдвоем даем 25 р. в месяц; все получаемое пойдет на Брэма, который, конечно, вернет затраченное. Я послал телеграмму и в тот же день получил письмо.

Прощай, Саша, обнимаю тебя.

Твой *Владимир*

Прошу Головкинского сейчас выслать перевод[147]; когда будет окончено издание, я готов выдать ему экземплярами немедленно всю сумму гонорара; они разойдутся в Киеве, Харькове и Одессе.

7. *А. О. Ковалевскому*[148]

[Петербург. Май 1877]

Милый Александр Онуфриевич!

Как редко Вы теперь стали писать Володе, а он между тем, зная, что Вы были нездоровы, с двойным нетерпением ожидает Ваших писем. Отчасти из желания сколько-нибудь развлечь Вас нашими письмами, отчасти в надежде, что хороший пример подействует и на Вас, мы решили писать Вам очень часто и даже чередоваться с ним, так как ведь сам Володя, как Вам вероятно известно, такой рассеянный, что 20 раз скажет, что надо написать, прежде чем сядет и действительно напишет.

Мы все поговариваем и мечтаем будущее лето прожить где-нибудь вместе с Вами на юге России; это было бы и приятно и полезно, так как Володя мог бы, конечно, соединить это с какими-нибудь геологическими изысканиями; на нынешнее лето мы, к сожалению, решительно привязаны к Петербургу, но зато нынешнею осенью кончается период практической деятельности Володи, и снова настанет эпоха научных занятий; а когда конец уже так близок, то было бы смешно роптать и жаловаться на судьбу.

В доме нашем кипит работа, штукатурят стены, стелют полы, вставляют рамы и т. п. Лишь только будет готова лестница, т. е. к концу этой недели, мы пустим объявления о квартирах и будем показывать их публике, ищущей квартир на осень. Несколько жильцов у нас уже имеется в виду; надеемся, что явится еще много других. Место у нас очень хорошее, и пустых квартир здесь очень мало, даже в нынешнем, очень неблагоприятном году. Так что мы с большими шансами можем рассчитывать на удачу. На лето мы наняли дачу, по петербургским условиям очень удобную; посреди огромного парка и притом очень близко от города, что для нас чрезвычайно важно.

Погода до сих пор была прескверная и холодная, но сегодня истинно майский день, и если весна теперь действительно установится, то мы недели через две переберемся на нашу летнюю квартиру. Лето мы прове-

дем в довольно большом одиночестве, так как наша постоянная сожительница Юля Лермонтова уезжает к себе в деревню под Москвою, да и бо́льшая часть хороших знакомых тоже разъезжаются.

Сеченовы уезжают, вероятно, около десятого мая; долго не решались они, где провести лето, опасаясь войны и неудобств жизни в Крыму в военное время; но брат Марьи Александровны[149] убедил их, что опасности нет, и они бы уехали и раньше, если бы Ивана Михайловича не задерживала здесь его работа, которая идет, кажется, очень успешно. В последнее время он нашел еще несколько фактов относительно белка и особого фермента в желтке, чрезвычайно интересных, как уверяет нас Юлия, в химическом отношении.

Поклонитесь от нас Тане и поцелуйте Ваших деток. Будьте здоровы и пишите почаще.

Искренне Вам преданная *Софья К.*

8. *Г. Фольмару*[150]

[Париж] 4 Мая 1882

Если бы Вы только знали, мой дорогой друг, как завидую я Вам, по крайней мере в этот миг, за возможность принимать участие в политической борьбе и содействовать успешному достижению столь святой и столь желанной цели.

Я, право, думаю, что при современных условиях спокойное буржуазное существование для честного и мыслящего человека возможно только в том случае, если намеренно закрыть на все глаза, отказаться от всякого общения с другими людьми и отдаться исключительно абстрактным, чисто научным интересам. Но тогда следует самым тщательным образом избегать всякого соприкосновения с действительной жизнью; иначе возмущение несправедливостью, которую видишь всюду вокруг себя, станет так велико, что все интересы побледнеют перед интересами великой экономической борьбы, развертывающейся перед нашими глазами, а искушение самому вступить в ряды борцов станет слишком сильно.

До сих пор я сама всегда придерживалась первого. В эпоху французской Коммуны я была еще слишком молода и слишком сильно влюблена в мою науку, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит вокруг меня. С того времени я не выходила из тесного круга моих товарищей по науке и некоторых семейных друзей. Я сама, правда, считала себя за социалистку (в принципе и с некоторыми оговорками), но должна Вам признаться, что решение социального вопроса казалось мне столь далеким и темным, что захватывающе отдаваться этому делу мне казалось не стоящим для серьезного ученого, способного сделать нечто лучшее.

Но теперь, после того как я прожила пять месяцев в Париже и вошла в тесное общение с социалистами разных национальностей, даже нашла среди них одного очень дорогого мне друга[151], для меня все совершенно переменилось. Задачи теоретического социализма и размышления о способах практической борьбы теснятся передо мною столь неотразимо, так занимают меня постоянно, что я действительно с трудом только могу принудить себя сосредоточить мои мысли на моей собственной работе, так далеко стоящей от жизни.

Нередко даже мною овладевает мучительное чувство, что то, чему я отдаю все мои помыслы и мои способности, может представлять некоторый интерес только для очень небольшого числа людей, тогда как теперь каждый обязан посвятить свои лучшие силы делу большинства. Когда мною овладевают подобные мысли и сомнения, я весьма склонна завидовать тем, кто уже так захвачен практической деятельностью, что им не остается больше никакого выбора и никакой возможности самостоятельного решения, ибо вся их деятельность строго предписывается обстоятельствами и требованиями их партии.

И каким облегчением было бы для меня в такие минуты поверять все эти мучающие меня думы и сомнения моему другу и предоставить ему хотя бы кое в чем наставлять и поучать меня. Да, верьте мне, друг мой, Ваша дружба мне очень дорога и, может быть, никогда еще в моей жизни, как теперь, я так не нуждалась в друге и не сумела бы понять счастья иметь такого друга и оценить его.

С дружеским приветом Ваш искренний друг *С. К.*

9. *Г. Фольмару*[152]

[Париж, начало 1883]

Я со своей стороны говорила с ним[153] достаточно откровенно и обратила его внимание на особенности моих личных обстоятельств, которые могли бы сделать неприятным мое положение в подлинно-буржуазном обществе. Так, например, во-первых, я русская и тем самым подозрительная по нигилизму (что в данном случае недалеко от действительности); во-вторых, я не живу со своим мужем, а каждая женщина, по каким бы то ни было причинам разошедшаяся со своим мужем, в глазах каждой доброй и благомыслящей матроны является лицом двусмысленным и подозрительным. А в таких случаях об ученых женщинах судят хуже, чем о других.

Что я в этом отношении не преувеличиваю, вижу я совершенно ясно по здешним математикам, с которыми я за последнее время познакомилась. Они усердно посещают меня, осыпают меня любезностями и комплиментами, но никто из них не познакомил меня со своей женой, и когда

я шутя обратила на это внимание одной знакомой дамы из этого круга, она смеясь ответила мне: «Госпожа Гермит (жена виднейшего здешнего математика) никогда бы не приняла в своей гостиной молодую женщину, которая одна, без своего мужа, проживает в меблированных комнатах».

Вы можете себе представить, что подобные глупости здесь, в Париже, трогают меня очень мало. В Стокгольме это могло бы быть совершенно иначе. Все это я тоже сказала Миттаг-Леффлеру.

10. П. Л. Лаврову[154]

Штокгольм [декабрь 1883 г.]
Kommandörsgatan 10, Hos Fru Vidmar

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Вы, верно, в большой претензии на меня за то, что я не ответила на Ваше милое письмо; но я получила его незадолго до моего отъезда из Берлина и была в это время так по уши погружена в математику, что никак не собралась ответить. Ну, а потом из России уж неудобно было отвечать, не сердитесь на меня и простите великодушно.

Ну, вот я, наконец, в Штокгольме. После нового года начну читать лекции в университете о «дифференциальных уравнениях»; на них записалось уже довольно много слушателей. Вообще и профессора и публика (по крайней мере та часть ее, с которою мне приходится встречаться) относятся ко мне не только дружелюбно, но даже иногда и восторженно[155].

Для смеха переведу Вам, что написала обо мне одна очень распространенная здесь демократическая газета на другой день после моего приезда сюда: «Сегодня нам предстоит сообщить нашим читателям не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или т. п. высокого лица; нет, дело идет о совершенно другом и несравненно важнейшем: принцесса науки, г-жа Ковалевская, прибыла в наш город и будет читать лекции в нашем университете и т. п.»

Все шведы, с которыми мне приходится встречаться здесь, народ довольно либеральный. Вопрос о равноправности женщин ужасно живо интересует шведское общество в данную минуту. Социальный вопрос тоже стоит на очереди. До сих пор мне не удалось еще узнать, какое действительное положение социализма в Швеции; по крайней мере, в обществе к социализму в теории относятся с большим сочувственным интересом. Даже люди, занимающие здесь очень высокое положение в обществе, дерзают открыто признаться в сочувствии к социализму.

Говорят, что и сам король не относится к нему с ужасом. Впрочем, я не берусь еще сказать утвердительно, насколько этот интерес и сочувствие искренни и насколько тут играет роль, в разговорах со мною, желание сказать что-нибудь подходящее к тем убеждениям, которые мои собеседники предполагают во мне.

Норденшильд — известный путешественник, один из тех, которые всего живее относятся к этому вопросу, а в особенности желал бы знать положение социализма и нигилизма в России. Я была бы Вам очень благодарна, многоуважаемый Петр Лаврович, если бы Вы нашли возможным указать мне на те издания русской революционной партии, которые появились за это последнее время и по которым иностранец мог бы составить себе понятие о целях и положении русской революционной партии в настоящее время[156].

Я думаю, что это очень полезно распространять здесь всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более что Швеция такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно.

О том, что делается у нас на родине, могу Вам сообщить мало интересного; я была там короткое время и совершенно была поглощена устройством личных дел и приготовлением к моему отъезду. Общее впечатление родины на меня было далеко неотрадное — апатия, общее недоверие и у всех одно откровенное желание, чтобы их оставили в покое.

Я не могла даже разузнать в России, точно ли Чернышевского вернули и в каком он находится положении[157]. Никому и в голову не приходит серьезно интересоваться этим. «Вернули — ну, пусть вернули; здоров он или с ума сошел,— это не наше дело!» Да, впрочем, пожалуй, если бы общество отнеслось иначе, то его бы, беднягу, и еще подальше услали.

Прощайте, многоуважаемый Петр Лаврович; пожалуйста, не поленитесь и сообщите о всех наших общих знакомых в Париже. Как поживает Никитина, где теперь Луцкий? Пожалуйста, сообщите его адрес; я как-нибудь соберусь и напишу ему.

Преданная Вам *Софья Ковалевская*

11. *А.-Ш. Леффлер*[158]

[Стокгольм. Весна 1886]

Дорогая Анна-Шарлотта!

Утром я проснулась с большим желанием повеселиться сегодня, как вдруг передо мною очутился мой дед с материнской стороны, толстый педант (т. е. астроном) и грозно указал на все те ученые сочинения, которые я предполагала изучить во время пасхальных вакансий, осыпая меня самыми серьезными упреками по поводу того, что я таким недостойным образом трачу свое драгоценное время. Его строгие речи обратили в бегство мою бедную бабушку-цыганку (с отцовской стороны). Теперь я сижу за письменным столом в капоте и туфлях, глубоко погруженная в математические размышления, и не чувствую ни малейшего желания

принять участие в вашей поездке. Вас так много, что вам наверное будет весело и без меня; поэтому надеюсь, что вы великодушно простите мне мой отказ[159]

Преданная тебе *Соня.*

12. *С. Аделунг*[160]

Стокгольм, Штурегатан 56, 11 декабря 1887 г.

Дорогая Соня!

Прости меня, пожалуйста, что я так долго затянула ответ на твое милое письмо: оно прибыло как раз к концу нашего осеннего семестра, т. е. во время самой горячей работы; поэтому я до сих пор не могла найти свободной минуты, чтобы написать тебе подробное письмо. Теперь я пользуюсь первыми днями наших рождественских каникул для того, чтобы поболтать с тобой. Твои литературные занятия меня очень интересуют; сообщи мне, пожалуйста, заглавия обеих твоих детских книг, а также — где их можно достать. Для какого возраста они предназначены — для больших детей или для маленьких, как моя Соня?

Ты наверно очень удивишься, услышав от меня, что и я во время каникул, чтобы отдохнуть от математики, занимаюсь писательством, а в последний год даже очень прилежно, так как я здесь очень подружилась с г-жой Эдгрен, которая в настоящее время слывет лучшей шведской писательницей. На этих днях появится написанная нами обеими драма; т. е. тему предложила я, развитие действия и последовательность сцен придумывали мы вместе, а она писала на шведском языке[161]. Впрочем, говоря «драма», я выражаюсь неправильно, так как это собственно не драма,— и это самое оригинальное в нашей работе,— а две параллельные драмы, которые объединены одним общим заглавием «Борьба за счастье» (по-шведски «Kampenför lyckan»). Действующие лица в обеих частях одни и те же, и обе части имеют один и тот же пролог. Первая драма изображает то, что на самом деле произошло, а вторая то, что могло произойти. Завтра или послезавтра наша драма появится в печати (листы уже готовы и только не сброшированы), и я надеюсь, что в течение зимы будет поставлена на здешней сцене.

Одна из наших знакомых в Германии просила у нас разрешения перевести нашу драму на немецкий язык, так что ты в Германии, может быть, когда-нибудь о ней услышишь. Здесь она появится под псевдонимом Корвин-Леффлер (Корвин — моя, а Леффлер — ее девичья фамилия).

Сегодня высылаю тебе бандеролью маленькую статью, которую я два года тому назад направила в московский журнал «Русская мысль». Однако, эти занятия представляют собою, конечно, только каникулярное времяпрепровождение; математика — главное. Я занята сейчас большой математической работой, которую надеюсь закончить к весне.

Моя маленькая Соня теперь уже большая восьмилетняя девочка: она ежедневно ходит в школу и говорит хорошо по-шведски. Представь себе, что она уже начинает забывать русский язык, несмотря на то, что она все лето провела в России и что я с ней говорю по-русски, когда мы одни. У нее уже замечается то своеобразное произношение, которое я наблюдаю у всех растущих за границей детей.

Сердечно обнимаю тебя, дорогая Соня, и прошу тебя поцеловать тетю Сашу и Ольгу, а также поклониться твоему брату. Напиши мне подробно, что Вы все поделываете.

Твоя любящая тебя *Софа*.

Шлю наилучшие пожелания к Рождеству.

13. А.-Ш. Леффлер[162]

[Стокгольм, январь 1888]

Я нахожусь в настоящую минуту под влиянием самого увлекательного и возбуждающего чтения, какое мне когда-либо случалось встречать. А именно я получила сегодня от Н. небольшую статью его с изложением плана предполагаемой поездки по льдам Гренландии[163]. Прочитав ее, я совершенно упала духом. Теперь он получил от датского коммерсанта Гамеля 5000 крон на это путешествие, и, конечно, ничто на свете не в состоянии будет заставить его отказаться от этой поездки[164]. Статья, впрочем, так интересна и так хорошо написана, что я ее пришлю тебе (конечно, под условием, что ты ее поскорее вернешь мне), как только узнаю твой точный адрес. Только прочитав эту статью, можно получить полное понятие о человеке. Сегодня я разговаривала о нем с Б., который находит также, что работа Н. просто гениальна, и уверяет, что Н. слишком хорош, чтобы рисковать своею жизнью в Гренландии.

14. А.-Ш. Леффлер[165]

Стокгольм, март 1888

Дорогая Анна-Шарлотта!

Souvent femme varie;
Bien fol est qui s'y fie *.

Если бы твое письмо с тем же содержанием и с тем же ужасным сообщением было получено мною несколько недель тому назад, оно, конечно, сокрушило бы совершенно мое сердце[166]. Но теперь, к собственному

* Женщина часто меняется: безумец тот, кто ей доверяет (фр.).

стыду, должна признаться, что, прочитав вчера твои глубоко сочувственные строки, я разразилась громким хохотом.

Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М.[167] Надеюсь, что кто-нибудь из семьи успел уже сообщить тебе о перемене в наших планах, так что мне незачем распространяться больше на этот счет[168]. В целом перемена очень счастлива для меня, потому что если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось ли бы мне окончить свою работу. Он такой большой, такой grossgeschlagen *, согласно удачному выражению К. в его речи, и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такою искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему. Я ничем не могу так хорошо выразить произведенного им на меня впечатления, как следующими превосходными стихами Мюссе:

Il est très joyeux — et pourtant très maussade,
Détestable voisin — excellent camarade,
Extrêmement futille — et pourtant très posé,
Indignement naïf — et pourtant très blasé,
Horriblement sincère — et pourtant très rusé. **

К довершению всего — настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем сколько можно было бы выжать из обоих супругов X, вместе, даже если бы положить их под гидравлический пресс...

Я вряд ли поеду в Болонью, потому что такого рода путешествие стоило бы слишком дорого: туалеты и т. д., а отчасти потому, что все эти торжественные собрания слишком скучны и совершенно не в моем вкусе[169]. Кроме того, для меня очень важно побывать теперь в Париже, хотя бы на самое короткое время.

Поэтому я с 15 мая по 15 июня намереваюсь прожить в Париже, а затем уехать с М. в Италию, чтобы встретиться там с тобою, потому что это уже решено: мы должны провести лето вместе, втроем — это самое важное, но где же именно — это уже вопрос второстепенный, которым я собственно меньше всего интересуюсь. Мне лично приятнее всего было бы поселиться у итальянского озера или в Тироле. М. соглашается на все эти

---

* Крепко сбитый (нем.)

** Он очень весел и, однако, очень угрюм; непригодный сосед и великолепный товарищ; чрезмерно ничтожен и очень важен; возмутительно наивен и весьма пресыщен; страшно искренен и, однако, весьма хитер (фр.).

планы, но ему собственно хотелось бы убедить нас отправиться с ним на Кавказ, через Константинополь.

Не могу не сознаться, что его план кажется мне чрезвычайно соблазнительным, в особенности, если взять во внимание его уверения, что это путешествие не будет стоить нам особенно дорого. Но относительно этого пункта у меня существуют сомнения, и я думаю, что мы поступим благоразумнее, если будем держаться цивилизованных стран.

Есть еще одно обстоятельство, которое с моей точки зрения говорит в пользу первого плана: мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове. Ты также должна была бы начать серьезно работать после продолжительного отдыха, которым пользовалась в течение всех этих месяцев. А это все возможно только в том случае, если мы поселимся в каком-нибудь тихом, красивом месте и начнем вести спокойную, идиллическую жизнь.

Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра божья.

15. *М. В. Мендельсон*[170]

[Стокгольм] 56 Sturegatan 7 октября 1890 г.

Дорогая, милая Мария!

Благодарю тебя за хорошее письмо. Отвечаю сейчас же, а это свидетельствует о том, что оно меня очень обрадовало. Благодарю тебя еще за милое предложение быть крестной матерью моего детища. Мое первородное дитя имеет уже крестную, ты же будешь крестить мое второе дитя, которое должно скоро появиться на свет, которому я посвящаю все мои мысли и которое владеет всеми моими материнскими чувствами.

Приступаю к объяснению. Мои «Воспоминания», которые ты так хвалишь, и несколько новых глав, не изданных на русском языке вследствие различных причин и отчасти из-за цензуры, перевела на французский язык одна из здешних девиц. Французский посол в Стокгольме, г. Милле — отличный стилист, просмотрел перевод. Быть может, ты читала его статьи: «От Дуная до Адриатики» в «Revue de deux Mondes» — настоящие шедевры в смысле языка. Итак, г. Милле, племянник Гастона Пари, имеет большие связи в литературном мире и обещал заняться изданием моей книжки. Теперь он во Франции; я получила от

него письмо, где он сообщает, что надеется на напечатание моих «Воспоминаний» в «Nouvelle Revue».

Но после «Воспоминаний» я написала еще две вещи. «Нигилистку», о которой я тебе говорила в свое время и даже раз перевела тебе ее ex abrupto *, так как написала ее сначала по-шведски. Теперь я написала ее на русском языке и изменила по многим причинам. Эта повесть также переведена уже на французский язык. Перевод сделан особой, оставляющей желать многого в качестве переводчицы, но имеющей большие литературные связи в Париже, и благодаря ей я или найду наверняка издателя, или моя повесть будет напечатана в «Revue de deux Mondes» [171].

Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводною нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней, и если ты пожелаешь перевести ее на французский язык, то я пришлю тебе рукопись [172]. Если мне удастся где-нибудь поместить мои два первородных произведения, то помещение третьего не встретит затруднений. Со всеми прочими переводчиками я условилась так, что мы делим гонорар пополам, если я получу его. Согласна ли ты на такие условия, дорогая Мария?

У Жаклара также имеется теперь одна моя небольшая новелла. Я сделала глупость и написала ее прямо по-французски. Признаюсь, что это большая глупость; не говоря о стиле, мысль, выраженная не на родном языке, не может иметь размаха. Он обещал ее просмотреть и напечатать, но не слишком торопится.

Но довольно болтать о моей литературе — перехожу к другим делам. Твое письмо, в общем очень милое, имеет тот большой недостаток, что ты ничего не пишешь о себе. А сколько ты пережила больших волнений! Как часто я думала о тебе во время процесса! [173] С удовольствием я читала в различных газетах, что «г-жа Мендельсон — очень красивая женщина, блестящая и интеллигентная, а одета с таким изяществом, что было бы неудивительно, если бы она давала тон парижской моде». Как часто мне хотелось писать тебе. Главной причиной моего молчания было то, что я не знала твоего адреса. Вот почему я послала мои «Воспоминания» через Лаврова [174].

С Жакларом мои отношения самые поверхностные. Я пишу ему изредка, чтобы получить сведения об Юрке. Иногда он соизволит ответить, иногда же — нет. О тебе я, конечно, никогда не вспоминаю в моих письмах из боязни обжечься. Весть о нем, сообщенная мне тобою, удивила меня, и, вместе с тем, я рада за него. Кто же эта счастливая особа, оценившая очаровательность Виктора? Из какого она общества? Мое единственное желание, чтобы она не была очень злой по отношению к Юрке.

---

* Внезапно, вдруг (лат.).

Жаклар писал мне, что намерен выслать Юрку из Парижа и определить его в агрономическую школу. Это намерение хорошее; жаль только, что Юрик никогда не пишет мне! [175]

А бедный пан Генрих! Одним доказательством больше, подтверждающим старую истину, что никто не уйдет от своей судьбы. Это можно было ясно вычитать по звездам, что он окончит не иначе, как женитьбой на старой, некрасивой вдове!

У меня нет больше бумаги, и я кончаю письмо. Сердечный привет пану Станиславу [176] и напиши скорее. Где ты была летом? Я провела лето чудесно, сначала в России, а потом в Швейцарии и Италии. В Петербурге я вынуждена была сказать речь в присутствии 5000 человек в ответ на приветствие, сказанное в честь меня председателем [177].

Всем сердцем преданная тебе *Софья*.

16. А. С. Шабельской [178]

[Стокгольм, осень 1890]

Я понимаю, что Вас так удивляет, что я могу заниматься зараз и литературой и математикой. Многим, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикою и считают ее наукой сухой и aride *. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен что-то сочинять несуществующее, что фантазия и вымысел — это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

Что до меня касается, то я всю мою жизнь не могла решить: к чему у меня больше склонности,— к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и наоборот — в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно [179].

---

* Бесплодной (фр).

V. ИЗ ДНЕВНИКОВ [180]

30 января (1884 г.). Среда. Прочитала сегодня первую лекцию. Не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было грустно возвращаться домой и чувствовать себя такою одинокою на белом свете.

В такие минуты это так особенно сильно чувствуется. Encore une étape de la vie derrière moi *.

1 февраля. Пятница. Целый день готовилась к лекции.

2 февраля. Суббота. Прочитала лекцию. Вернулась домой ужасно печальная, сидела погруженная в созерцание своего одиночества [181].

5 февраля. Вторник. Готовилась к лекции. Отправилась с Леффлером с визитом к Линдгагену, который, однако, не удостоил принять нас. Его супруга сообщила нам, что если мы и в другой раз придем, то нас, вероятно, постигнет та же участь.

6 февраля. Среда. Прочитала третью лекцию.

9 февраля. Суббота. Четвертая лекция.

13 февраля. Леффлер сообщил мою статью штокгольмской академии [182].

21 февраля. Четверг. Ну уж денек! С утра всякие неудачи! Одни за другими. Такая находит иногда усталость, что бросила бы все и бежала. Тяжело жить одной на белом свете!

27 февраля. Среда. Получила поутру письмо от бестолкового Леффлера, чтобы я прочитала лекцию, когда я совсем была неприготовившись к этому. Разумеется, не читала.

16 апреля. Среда. Прочитала лекцию. Весь день размышляла о мудром правиле Талейрана: Il ne faut jamais suivre son premier mouvement, car il est toujours bon **.

5 сентября (1885 г.). Суббота. У меня был Варминг. Я поняла из его слов, что все профессора, особенно Лекке, против того, чтобы я читала механику.

---

* Еще один жизненный этап остался позади (фр.).

** Никогда не надо следовать своему первому побуждению, потому что оно всегда хорошее (фр.).

17 мая (1890 г.). Суббота. Приехала в Петербург. Никто не встретил на жел. дороге.

18 мая. Воскресенье. Была у Имшенецкого. Узнала следующую историю. Марков публично заявил, что мой мемуар полон ошибок, но что он покажет их лишь тогда, когда господа академики, представившие меня членом, потрудятся прочесть мой мемуар. Имшенецкий считает себя великим героем, потому что решил возразить Маркову, что если даже в моем мемуаре есть ошибки, то есть и достоинства!!! После того как Маркова сделали экстраординарным академиком, он был так милостив, что заявил в частном разговоре, что мемуар мой не так плох, как ему сначала показалось[183]. На этом частном разговоре все и ограничилось.

19 мая. Понедельник. Поутру на экзамене в женских курсах. Затем у Чебышева. Я спросила, могу ли присутствовать на академических сеансах в качестве de membre-corr.*. Чебышев заявил, что это не в обычаях академии![184].

---

* Члена-корреспондента (фр.).

*ПРИМЕЧАНИЯ**

К ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТСТВА

[1] (стр. 7). «Воспоминания детства» печатаются в основном по тексту «Литературных сочинений» С. В. Ковалевской, сверенному с текстом, напечатанным при жизни автора в «Вестнике Европы», а также с черновыми рукописями Софьи Васильевны в архиве Академии Наук СССР. О новой главе «Воспоминаний», о дополнениях и поправках к другим главам — в соответствующих местах примечаний. Мелкие, корректурные, исправления не отмечаются.

Отец С. В. Ковалевской — Василий Васильевич Корвин-Круковский (род., приблизительно, в 1800 г., ум. в 1875 г.), по семейным преданиям, вел свой род от средневекового венгерского короля Матвея Корвина (1443—1490). Король был любителем искусств и наук, в частности — математики. Он собрал величайшую и замечательнейшую библиотеку эпохи Возрождения, высоко ценил славянскую культуру, сам изучил несколько славянских языков, издавал славянские грамоты. С ним прекратилась династия, основанная его отцом, королем Иоанном Гуниадом. Сын Матвея был лишен наследства. Потомки его переехали в Литву. Через бояр Глинских они породнились с русскими царями. Прадед Василия Васильевича, Иван Михайлович Корвин-Круковский занимал в эпоху Петра первого крупную должность в военном управлении Украины — был войсковым товарищем в Стародубском казачьем полку. В. В. Корвин-Круковский служил в артиллерии. В 1858 г. вышел в отставку с чином генерал-лейтенанта. Поселился в своем большом, богатом имении Палибино, Невельского уезда, Витебской губернии. Был губернским предводителем дворянства. Политические взгляды его были умеренно-консервативные. В семье проявлял себя типичным представителем дореформенного, крепостнического дворянства. Под конец жизни примирился с демократическим направлением своих дочерей.

[2] (стр. 13). Мать С. В. Ковалевской — Елизавета Федоровна (род. около 1820 г., ум. в 1879 г.), дочь генерала и почетного члена Академии Наук Ф. Ф. Шуберта (см. ниже). Его жена, бабка С. В. Ковалевской, Софья Александровна (1801—1833) — дочь придворного банкира, барона А. А. Ралля. Другая дочь Ралля — жена известного журналиста, профессора Петербургского университета О. И. Сенковского. Третья дочь Ралля — жена представителя известной в истории русского искусства семьи

---

* Цифры перед примечаниями означают: первая — порядковый номер примечания в тексте, вторая — страницу текста.

Брюлловых — архитектора А. П. Брюллова. О том, как прошли первые годы замужества Е. Ф. Корвин-Круковской, дает яркое представление «Дневник» ее за 1843—1849 гг.— от самой свадьбы почти до рождения Софьи Васильевны. Эти записи «Дневника» опубликованы в моей книге «Сестры Корвин-Круковские».

[3] (стр. 30). Гувернер этот, Иосиф Игнатьевич Малевич, был раньше воспитателем сыновей мелкопоместного дворянина Витебской губернии И. Е. Семевского; отсюда перешел в семью одного из братьев В. В. Корвин-Круковского, а затем переехал в Палибино. Поддерживал дружеские отношения со своим воспитанником М. И. Семевским и, по настоянию последнего, написал для «Русской старины» воспоминания о своем пребывании в семье Корвин-Круковских, о детских годах Софьи Васильевны и ее сестры.

[4] (стр. 30). В экземпляре «Воспоминаний» С. В. Ковалевской, принадлежавшем ее знакомому, барону Ф. Р. Остен-Сакену, к этим строкам подклеена следующая заметка бывшего владельца книги, датированная 24 февраля 1904 г.: «Эту англичанку я впоследствии, т. е. в 90-х годах, встречал у Посьетов. Звали ее Маргарита Францевна Смит, и, что замечательно, она была православная, хотя родилась от англиканских родителей, где-то в глубине России. Она не была красива, но в профиле напоминала вел. княг. Марию Николаевну (Лейхтенбергскую). Очень почтенная дама. Она и теперь еще живет и помещается в доме императрицы Александры Федоровны для призрения бедных, на Среднем проспекте Васильевского острова». Упоминаемый здесь К. Н. Посьет — адмирал, министр путей сообщения. Великая княгиня — дочь Николая I.

[5] (стр. 43). Франко-прусская война, положившая конец царствованию Наполеона III, возникла 15 июля 1870 г.

[6] (стр. 43). Бер, Поль (1833—1886) — французский физиолог; из его трудов ко времени деревенской жизни Корвин-Круковских вышли: «О прививке животных» (1863) и «О живучести животной ткани» (1866).

[7] (стр. 44). Гельмгольц, Герман (1821—1894) — знаменитый естествоиспытатель — физиолог и физик; крупнейшие работы его стали печататься с 1847 г. («О сохранении энергии»).

Бернар, Клод (1813—1878) — французский физиолог, основатель экспериментальной физиологии; доказывал зависимость жизненных явлений от материальных причин; его «Лекции по физиологии и патологии нервной системы» (1858) переведены на русский язык в 1866 г.

[8] (стр. 45). Недоросль — название несовершеннолетних дворян в Московской Руси. Сохранилось до конца XVIII ст.; увековечено в насмешливом виде в комедии Д. И. Фонвизина того же названия.

[9] (стр. 49). О дяде П. В. Корвин-Круковском говорится также в «Автобиографическом рассказе» С. В. Ковалевской (стр. 122 сл.). В архиве С. В. Ковалевской сохранилось любопытное письмо его к Софье Васильевне от 5 января 1867 г.; здесь дядя называет ее своей сердечной, ненаглядной: «Как бы я счастлив был, если бы мог теперь взглянуть на тебя».

[10] (стр. 50). Об этих Литографированных лекциях и о занятиях С. В. Ковалевской математикой — в «Автобиографическом рассказе» (стр. 124).

[11] (стр. 50). Страннолюбский, Александр Николаевич (1839—1903) — преподаватель математики в специальных и общих учебных заведениях. Пользовался большой популярностью в петербургских кружках радикальной молодежи 60-х — 70-х годов. Много работал в области развития женского образования, преподавал на Аларчинских женских курсах, представлявших собой зародыш женского университета. Был сторонником препо-

давания без принуждения и наград. Ввел в школе обучение ремеслам, экскурсии на заводы и фабрики для ознакомления учащихся с производством. Одна из его учениц, А. П. Прибылева-Корба, пишет, что Страннолюбский «сделал очень много для поднятия уровня знаний у женщин; обучая математике, он вместе с тем умел развивать логическое мышление в своих ученицах». Он говорил им: «Будьте всегда логичны, и вы будете непобедимы».

[12] (стр. 51). Дед С. В. Ковалевской со стороны матери — Федор Федорович Шуберт (1789—1865), сын действительного члена Академии Наук, известного астронома и математика Фед. Ив. Шуберта (1758—1825). Ф. Ф. Шуберт — выдающийся ученый и военный деятель, почетный член Академии Наук, основатель корпуса военных топографов, генерал-от-инфантерии, автор многих ученых трудов. Участвовал в войнах 1806—1814 гг. против Наполеона; тяжело ранен под Прейсиш-Эйлау. Согласно послужному списку — в кампании 1812 г. при отступлении нашей армии был в ариергарде, при преследовании неприятеля — в авангарде. Был при взятии Парижа. После разгрома восстания декабристов энергично защищал участника тайного общества В. Д. Вальховского, товарища Пушкина по Лицею. Сын его, дядя С. В. Ковалевской — также Фед. Фед. Шуберт родился в 1831 г., умер в 1877 г.

[13] (стр. 58). В августе 1868 г. С. В. Ковалевская писала сестре: «Вчера имела я неожиданное счастье получить твое письмо; знаешь ли, что оно целый переворот во мне совершило! Странное дело! Мы в самом деле живем как будто одною жизнью с тобой. Я здесь в Палибине решительно ощущаю как бы отголосок каждого твоего чувства. Вчера, читая твое письмо, на меня находило ужасно странное чувство, как будто я просто делаюсь одним человеком с тобою и понимаю каждое твое ощущение гораздо больше, чем было в письме; никогда еще не сознавала я в такой степени, как нужны мы друг для друга и какая неразрывная связь между нами... Даже на время не следует нам отделяться друг от друга». Через месяц писала: «Духовная моя мама, помни, что ты же избаловала меня и что твоя вина, если я теперь уж не могу обойтись без тебя». И снова спустя месяц: «Мы не должны разлучаться с тобою, пока нам возможно быть вместе, употребив для этого некоторую долю энергии». В письме от 28 декабря читаем: «Милая Анюта, ты такая хорошая, чудная, великая, что я бы готова была поклониться тебе в ноги. Анюта, мой лучший, чистейший, благоразумнейший идеал, единственная моя молитва теперь, чтобы господь всегда сохранил меня достойной тебя и никогда, никогда, даже на время не разлучал нас. Это одно единственное счастье, которое я прошу у судьбы. О, как раскаиваюсь я теперь, что когда-нибудь огорчала тебя, мою несравненную. Если бы я могла тогда понимать все, как теперь понимаю, то никогда, никогда не уехала бы из Палибина без тебя». Таких мест много в других письмах.

[14] (стр. 58). Польское восстание возникло в начале 1863 г. и было жестоко подавлено М. Н. Муравьевым-вешателем (1796—1866). В молодости он примыкал к тайному обществу декабристов. Во время следствия по делу последних перешел на сторону помещиков-крепостников и усердной службой добился многих милостей от Николая I; участвовал в подавлении польского восстания 1831 г. Интересны высказывания С. В. Ковалевской о польском вопросе в письмах к польской революционерке, М. В. Мендельсон-Залесской (1883 г. и сл.): «Мне не было известно, что польские газеты писали обо мне. Меня очень радует, что поляки относятся ко мне, как к своей. Что касается меня, то я не чувствую ни к одному народу такой симпатии, как к полякам. В детстве я не мечтала так

горячо ни о чем, как только о том, чтобы принять участие в каком-нибудь польском восстании, и — верите ли? — чем дольше живу, я убеждаюсь, с возрастающим удивлением, что в ранней молодости у меня было как бы предчувствие того, что должно было меня встретить позже. И — кто знает! — быть может, мои детские мечты и осуществятся когда-нибудь!» Прочитав об аресте в Варшаве кружка польских социалистов, С. В. Ковалевская писала Залесской: «Сердце сжалось у меня при мысли, что твоих друзей постигла новая беда. Что делает Янович? Когда я подумаю, какой опасности он подвергается, он мне кажется гораздо более интересным, и я чувствую укоры совести за то, что не выказала ему в Париже больше дружбы». Упоминаемый здесь Людвиг Янович (1858—1902) — известный польский революционер. После заключения в Шлиссельбурге сослан в Средне-Колымск, где погиб. В предсмертном письме к товарищам «от души» желал им «увидеть красное знамя на Зимнем дворце». Из литературы о Я.— лучший очерк в воспоминаниях Ф. Кона — «За 50 лет», т. 1, стр. 145 и сл.

[15] (стр. 60). К описываемому времени относится роман Анны Васильевны с Михаилом Ивановичем Семевским (1837—1892), тогда отставным бедным офицером, автором нескольких исторических очерков. Впоследствии он был издателем исторического журнала «Русская старина» (основан в 1870 г., прекратился в 1918 г.). Когда гувернер И. И. Малевич перешел воспитателем в семью В. В. Корвин-Круковского, М. И. Семевский приезжал к нему в Палибино. Малевич решил устроить брак Семевского с Анной Васильевной, которая также увлекалась молодым историком. Этому браку воспротивился генерал Корвин-Круковский главным образом из-за бедности жениха.

[16] (стр. 61). Из сказки Перро «Синяя борода». В переводе И. С. Тургенева (изд. 1908 г., стр. 15) это место читается так: «Сестра моя Анна, взойдя на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья? — Я вижу, солнце яснеет и зеленеет трава. Я вижу, к нам приближается большое облако пыли». Вскоре приехали братья и освободили Анну.

[17] (стр. 63). Здесь упоминается роман талантливого английского писателя Э.-Д. Бульвер-Литтона (1803—1873), «Эдит — Лебединая Шея». На ту же тему есть стихотворение Генриха Гейне «Поле битвы при Гастингсе». В последнем рассказывается, как монахи искали на поле Гастингской битвы труп короля Гарольда. Не могли опознать его и пошли к Эдит.

Лебяжьей Шеей звалась она
За то, что клонила шею
Она, как лебедь: король Гарольд
За то пленился ею;
Ее он любил, лелеял, ласкал,
Потом забыл, покинул...

Отшельница отправилась с монахами на поле. Они бродили до вечера без успеха.

Как вдруг в вечерней тишине
Ужасный крик раздался:
Эдит — Лебяжья Шея нашла
Того, кого искала...
К тем малым рубцам на плече его
Она прикоснулась губами —
Любовной памятью были они,
Прошедшей страсти следами...

См. Г. Гейне — Избранные стихотворения. М. 1930, стр. 109 и сл., перевод Ал. Блока и Е. Книпович.

[18] (стр. 65). «Подражание Иисусу» — произведение начала XV в., приписываемое монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471). Простым языком, говорящим непосредственно чувству читателя, в этом произведении излагаются общехристианские истины и мораль в понимании средних веков, проповедуется добродетельная жизнь, состоящая в борьбе за общее благо. Основной тон книги — аскетизм, которым сестры Корвин-Круковские увлекались в середине 60-х годов. Об этом много — в письмах С. В. Ковалевской за 1868 г. «Подражание Христу» выдержало более 2000 изданий, переведено на все европейские языки. На русском языке, в переводе К. П. Победоносцева, выдержало около десяти изданий.

[19] (стр. 68). В последних двух абзацах изложены мысли мужа С. В. Корвин-Круковской, гениального палеонтолога В. О. Ковалевского, высказанные в его классических трудах: «Остеология анхитерия...» (Киев, 1873), «Остеология... ископаемых копытных» (М. 1875) и др.

[20] (стр. 71). Основанный М. Н. Катковым в 1856 г. в Москве журнал «Русский вестник» до 60-х годов велся в умеренно-конституционном направлении. Там печатались «Отцы и дети» Тургенева, обличительные «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова, говорилось о либеральных реформах. После падения крепостного права, а особенно в связи с польским восстанием 1863 г., Катков повернул в сторону политической реакции.

«Эпоха» — журнал Ф. М. Достоевского, выходивший в Петербурге с 1863 г. вместо закрытого правительством по недоразумению журнала «Время» (с 1861 г.). Оба были «самобытно-почвеннического», по замыслу редакторов, а на деле — националистически-консервативного направления. Здесь в 1864 г. напечатаны две повести А. В. Корвин-Круковской.

«Современник» — журнал, основанный в 1836 г. в Петербурге А. С. Пушкиным; с 1847 г. был в руках Н. А. Некрасова и В. Г. Белинского; с 1856 г. стал, под руководством Н. Г. Чернышевского и позднее Н. А. Добролюбова, органом революционной демократии. Закрыт правительством в 1866 г. за «вредное направление».

«Русское слово» — журнал, выходивший с 1859 г. в Петербурге; орган радикальной разночинной интеллигенции, выразитель «нигилистических идей» 60-х годов; издавался при участии Д. И. Писарева, В. А. Зайцева, Г. Е. Благосветлова, Н. В. Шелгунова, А. П. Щапова и др.; закрыт в 1866 г. правительством за «развращающее влияние на молодежь».

«Колокол» — двухнедельный журнал обличительного направления, выпускавшийся в Лондоне А. И. Герценом с 1857 по 1868 г.; имел огромное значение для развития освободительного движения в России, где распространен был очень широко, несмотря на запрещение и преследования правительства.

[21] (стр. 72). В разгар увлечения «аскетическим нигилизмом» С. В. Корвин-Круковская писала своему жениху В. О. Ковалевскому: «С родными мы находимся в полном ладу, т. е. совсем не разговариваем и по возможности меньше видимся. Это у нас род обоюдного соглашения, и я убеждена, что отцу оно столько же нравится, сколько и нам» (1 августа 1868 г.; ср. с письмом от 25 июля, стр. 135).

[22] (стр. 77). Имеющийся в архиве С. В. Ковалевской черновой набросок этого «письма Достоевского», относящегося к середине августа 1864 г., показывает, что к концу 80-х годов оно сохранилось в ее памяти вовсе не «слово в слово». Опуская много отдельных слов, замененных

при окончательной отделке «письма», и перестановок частей фраз, отмечу в дальнейшем, в прямых скобках в настоящих примечаниях, наиболее существенные отличия черновика от печатного текста.

[23] (стр. 77). В рукописи всей этой фразы нет.

[24] (стр. 77). В рукописи: «обаяние неподдельного чувства... истинной веры в жизнь».

[25] (стр. 77). Вместо: «в будущем же», в рукописи: «в одном из ближайших». В действительности, рассказ А. В. Корвин-Круковской «Сон» напечатан именно «в ближайшем» номере «Эпохи» — № 8, за август 1864 г.

[26] (стр. 78). В рукописи — вместо последних четырех слов: «каковы обстоятельства Вашей жизни».

[27] (стр. 78). Вместо последней фразы — в рукописи: «Все это важно мне знать, чтобы составить себе понятие о Вас и о Вашем таланте».

[28] (стр. 78). А. В. Корвин-Круковская писала Достоевскому в пору наивысшего обострения его личных обстоятельств. Незадолго до того (15 апреля 1864 г.) умерла его первая жена Марья Дмитриевна (Исаева). Сам он переживал в это время свой трагический роман с А. П. Сусловой, тогда незавершенный и долго еще волновавший его. Дела «Эпохи» были очень печальны. На руках Ф. М., вдобавок ко всему, была семья его брата, М. М. Достоевского, умершего в первой половине июля 1864 г. Ф. М. изнемогал под гнетом всех обрушившихся на него бед, осложненных постоянным безденежьем. В это время, когда все стало вокруг Достоевского холодно и пустынно, он получил от экзальтированной дочери витебского губернского предводителя дворянства письмо и рассказ «Сон». Достоевский заинтересовался рассказом палибинской барышни и напечатал его в ближайшем номере журнала. Рассказ очень слабый в художественном отношении. Автору немедленно перевели гонорар, хотя тяжелое материальное положение журнала и чрезвычайно запутанные собственные денежные дела заставляли Достоевского расплачиваться с другими сотрудниками почти всегда с запозданием. Между редактором «Эпохи» и автором «Сна» завязалась тайная переписка через палибинскую экономку Корвин-Круковских и петербургскую подругу Анны Васильевны, дочь петергофского дворцового коменданта, А. М. Евреинову.

[29] (стр. 78). В рукописи после этого (не зачеркнуто): «случайно попавший в наше захолустье, в наш медвежий или генеральский уголок, как мы прозвали наш уезд, так как в нем медведи и старые генералы в отставке составляли выдающуюся черту».

[30] (стр. 79). После этого в рукописи (не зачеркнуто): «Женщина-писательница была для моего бедного отца олицетворением всякой мерзости. Он относился к ним с наивным ужасом и негодованием и считал каждую из них способной на все нехорошее. Я невольно вспоминала его, когда прочла у Некрасова в характеристике одного из его героев:

Он страстно осуждал Жорж Занд
за то, что носит панталоны».

Эти строки — из стихотворения «Прекрасная партия» (1857 г.); правильное чтение: «И строго осуждал Жорж Занд, что носит панталоны».

[31] (стр. 79). Ростопчина, Евдокия Петровна, рожденная Сушкова (1811—1858), — поэтесса. Пушкин, Жуковский, Лермонтов ценили ее изящный по форме, звучный стих. Белинский, признавая «поэтическую прелесть» стиха и «высокий талант» Р., отмечал пустоту ее поэзии, ее

слушание «богу салонов». Нашумело ее стихотворение «Насильственный брак» (1845 г.), где изображены отношения русского царизма к Польше — угнетенной жене грозного деспота. Под конец своей поэтической деятельности Р. писала в реакционном духе. Была очень красива и пользовалась большим успехом в кругу великосветских прожигателей жизни.

[32] (стр. 81). Из стихотворения Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало» (1862 г.), напечатанного в «Современнике» (№ 1 за 1862 г.). Слово «боюсь» в первой и третьей строках взято здесь из других строк (Соч., т. VI, 1939 г., стр. 271).

[33] (стр. 81). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «Таково было содержание первой повести моей сестры; но главное достоинство ее заключалось совсем не в фабуле, а в той жизненности, в той реальности, с которой она сумела передать порывания своей героини. Она пережила их, расхаживая в... Особенно хорошо удались ей тоже картины счастья перед Лилией. Она сама так часто рисовала себе эти картины; она так жаждала этого счастья, так верила в его возможность». Излагая по памяти содержание первой повести Анны Васильевны через 25 лет после ее напечатания, Ковалевская несколько спутала ее со второй повестью своей сестры (см. след. примечание).

[34] (стр. 81). Вторая повесть А. В. Корвин-Круковской, «Послушник», обширнее первой по объему, но так же скромна по художественному выполнению. Достоевский высказал Анне Васильевне свое мнение о второй повести в обширном письме от 14 декабря 1864 г. при посылке гонорара: «Милостивая государыня Анна Сергеевна! Я вам пишу: Анна Сергеевна, а наверное не знаю. И потому будьте так добры, уведомьте меня: правильно ли пишу или нет. Посылаю вам 181 р. (сто восемьдесят один рубль) за вашу повесть «Послушник», которая напечатана в «Эпохе» в 9-м (сентябрьском) № под названием Михаил. Название «Послушник» было не то, чтоб запрещено, а забраковано духовной цензурой. Эту повесть дух. ценз. первоначально запрещала, и потому я должен был согласиться на многие вымарки и исправления. Некоторые из этих исправлений и по моему личному убеждению были нужны... При этом прибавлю, что величайшее умение писателя — это уметь вычеркивать. Кто умеет и кто в силах свое вычеркивать, тот далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное — не повторять уже сказанного или и без того всем понятного... Повесть ваша («Михаил») всем близким к редакции людям и постоянным нашим сотрудникам очень понравилась... «Сон» же — не всем. Мое мнение Вы знаете. Вам не только можно, но должно смотреть на свои способности серьезно. Вы — поэт. Это уж одно многого стоит... Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное».

Вторая повесть Корвин-Круковской напечатана в следующей же книге журнала после первого рассказа: ею открывается сентябрьский номер «Эпохи». Так поступали тогда очень редко даже с произведениями знаменитых писателей.

[35] (стр. 81). О свиданиях С. В. Ковалевской с Достоевским «несколько лет спустя» — в 1876—1877 гг. — см. дальше, стр. 87 сл. В рукописи после отмеченного текста зачеркнуто: «Когда много лет спустя Достоевский принес нам... мы тогда часто виделись».

[36] (стр. 82). В рукописи зачеркнуто: «Весь дом полон гостями, которые рады всякому случаю посплетничать, сочинить какую-нибудь историю про палибинских барышень».

[37] (стр. 85). В архиве Достоевского, в Пушкинском Доме при Акаде-

мии Наук СССР (Институт русской литературы), сохранилось письмо к нему В. В. Корвин-Круковского от 14 января 1866 г., из которого видно, что отец Анюты так и не познакомился с писателем и не изменил своего презрительного отношения к журналисту и бывшему каторжнику», однако разрешил дочери встречаться с Достоевским в Петербурге под наблюдением матери. Извлечения из письма В. В. Корвин-Круковского см. ниже.

[38] (стр. 86). В рукописи после этих слов — незачеркнутая заключительная фраза: «Но я боюсь вспоминать о ней; вспомнишь — потом не кончишь».

[39] (стр. 87). В рукописи заголовок: «Мое знакомство с Федор Михайловичем Достоевским».

[40] (стр. 87). Вот это петербургское письмо А. В. Корвин-Круковской к Достоевскому от 28 февраля 1865 г.: «Милостивый государь Федор Михайлович! Я приехала на несколько дней с моей матерью в Петербург и, пользуясь вашим позволением, спешу дать Вам знать, что была бы чрезвычайно рада повидаться с Вами и познакомиться лично. Может быть, Вы не откажетесь зайти к нам на-днях, и в таком случае чрезвычайно обяжете, если дадите знать,— если возможно, с этим посланным,— в какой день и когда Вы соберетесь, чтобы я могла Вас ожидать. Чем раньше назначите день, тем приятнее будет для меня. Примите уверение в моем уважении. Анна Круковская. Наш адрес: на Васильевском острове, в 1-й линии, дом Шуберта, квартира Фед. Фед. Шуберта».

[41] (стр. 89). В архиве С. В. Ковалевской сохранились автографы нескольких стихотворений — беловые с черновыми вариантами. Некоторые опубликованы в журналах. Одно включено в сборник литературных произведений (1893 г.). О характере работы С. В. Ковалевской над своими стихотворениями дают представление приведенные в иллюстрациях автографы.

[42] (стр. 89). К этому месту «Воспоминаний детства» относится сохранившийся в рукописи на 17 листках рассказ о Достоевском, не включенный ни в текст «Вестника Европы», ни в отдельное издание 1893 г. Рукопись — в архиве Академии Наук СССР, в бумагах М. М. Ковалевского. Кроме личных воспоминаний по рассказам самого Достоевского, Софья Васильевна, несомненно, пользовалась при написании этой главы появившимися до 1889 г. в печати воспоминаниями Федора Михайловича, его «Дневником писателя», соответственными местами его беллетристических произведений, воспоминаниями А. П. Милюкова и других лиц о Достоевском. В несколько сокращенном виде этот рассказ входит составной частью в напечатанную при жизни Ковалевской по-шведски переделку «Воспоминаний детства» — «Из русской жизни — Сестры Раевские» (Стокгольм, 1889), где имена всех действующих лиц, в том числе и Достоевского, сохранены, кроме имен и фамилии членов семьи Корвин-Круковских; имена последних слегка видоизменены, а фамилия заменена фамилией «Раевские». Привожу этот рассказ в Приложениях (стр. 115).

[43] (стр. 90). В рукописи: «мифическим».

[44] (стр. 90). В «Материалах» О. Ф. Миллеоа возникновение эпилепсии отнесено к досибирскому периоду жизни Достоевского — под влиянием известия об убийстве его отца крепостными крестьянами. До Сибири припадки случались редко. Усилились и участились они под тяжелым влиянием каторги. Рассказ о происхождении болезни вследствие наказания Достоевского на каторге розгами отвергался им самим и многими другими.

[45] (стр. 91). В рукописи после этого — не зачеркнуто: «и, вероятно, так-таки и взаправду видел и испытал все, что описывает».

[46] (стр. 92). Рассказ об изнасиловании 10-летней девочки использован Достоевским в девятой главе романа «Бесы» и не был известен в печати до революции. Опубликован в «Былом» в 1922 г. Во вступительном очерке В. Л. Комарович дал обстоятельный разбор легенды, связанной с этой главой: по слухам и различным намекам в литературе, этот рассказ будто бы отражает факт из личной жизни Достоевского. В. Л. Комарович устанавливает, что интерес писателя «к этой сюжетной схеме вызывался и поддерживался не какими-либо автобиографическими реминисценциями [воспоминаниями], а стремлением художника найти в сюжете адекватную [соответственную] выразительность своему... постижению мира».

[47] (стр. 93). Возможно, что эти строки относятся к известному русскому военному писателю и либеральному военному министру 60—70-х годов, Д. А. Милютину. Он сам, а особенно его жена и две дочери часто бывали у С. В. Ковалевской в Петербурге во второй половине 70-х годов.

[48] (стр. 94). В рукописи вместо слов «дальний родственник...» было: «дальний родственник — полковник генерального штаба», и приписано над строкой: «Андрей Иванович Косич — не для печати». В дальнейшем, в окончательном тексте, все места, относящиеся к Косичу, изменены таким же образом, и объект ревности Достоевского превращен в «немчика». Сделано это для того, чтобы отвести внимание читателя от Косича, который в 1890 г., когда впервые печатались «Воспоминания», был популярен как один из либеральных администраторов (см. о нем в примеч. 183-м).

Л. Г. Дейч вспоминает о «сочувствовавшей» революционерам 70-х годов и помогавшей им Елене Антоновне Косич, которая подвергалась за это арестам и ссылке в Сибирь, добавляя, что это «сестра в свое время известного генерала» (Сборник «Группа Освобождения труда», вып. III, М. 1925, стр. 133). В справочниках упоминается дворянка Черниговской губернии Ел. Ант. Косач (Косыч; род. в 1848 г.), которая за участие в киевском кружке бунтарей и другие революционные связи подвергалась арестам и ссылке. Но это не родная сестра, а родственница А. И. Косича, фамилия которого писалась также «Косыч». У Е. А. Косыч была двоюродная сестра, дворянка Черниговской губернии Ю. О. Круковская — участница революционного движения, осужденная на каторгу и умершая на поселении.

[49] (стр. 94). После этого в рукописи было: «часто приезжал к нам в деревню и ухаживал за сестрой, но тоже в меру, не торопясь».

Андрей Иванович Косич родился в 1833 г. Происходил из дворян Черниговской губернии. В 1860 г. окончил Академию генерального штаба. Участвовал в Крымской войне, в войне 1877—1878 гг.; имел награды за храбрость. С 1881 г. — начальник штаба Киевского округа. С 1887 г. — саратовский губернатор; в этой должности поддерживал местное самоуправление и распространял народное образование. С 1891 г. — командир 4-го армейского корпуса, с 1895 г. — помощник командующего войсками Киевского округа, с 1901 г. — командующий войсками Казанского округа. Как военный администратор, добился санитарными мероприятиями значительного оздоровления войск. В 1905 г. назначен членом Государственного совета. Назывался кандидатом в «конституционное» министерство С. Ю. Витте. После 1907 г. устранен от присутствия в совете — за либерализм.

[50] (стр. 95). В рукописи после этих слов — не зачеркнуто: «которые называют себя христианами».

[51] (стр. 95). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «на этого редкого зверя — русского писателя, говорящего такие несуразные вещи».

[52] (стр. 95). В рукописи этот абзац начинался иначе: «На следующий день он, однако, опять явился к нам».

[53] (стр. 96). В рукописи после этих слов — не зачеркнуто: «Она поняла, что имеет над ним власть, и стала ею злоупотреблять».

[54] (стр. 96). Вместо этой фразы в рукописи было: «Если при его приходе она была занята каким-нибудь делом, например шила, то, поздоровавшись с Федором Михайловичем, продолжала работать, хотя и видела, что это злит его необычайно. Достоевский становился пасмурнее осенней ночи, но не уходил, а садился в угол и дулся».

[55] (стр. 96). В рукописи было: «Отчего вы сегодня такая? — Устала, не в духе,— отвечает сестра».

[56] (стр. 96). После этого в рукописи — не зачеркнуто: «И это развитая девушка, это русская писательница! — негодует Федор Михайлович.— Быть писательницей не значит записаться в монахини,— резонно замечает сестра».

[57] (стр. 101). С. В. Корвин-Круковской было в это время 15 лет.

[58] (стр. 105). Знакомство Ф. М. Достоевского с А. В. Корвин-Круковской и сватовство к ней составляют значительный эпизод в его жизни, хотя, вопреки его заявлению (в передаче С. В. Ковалевской), любовь к Анне Васильевне не захватила все его существо. Через полтора года после встречи с Анной Васильевной он рассказал об этом сватовстве своей стенографистке А. Г. Сниткиной, вскоре ставшей его женой. В «Воспоминаниях», написанных по современным дневникам и стенографическим заметкам, А. Г. Достоевская так передает рассказ мужа о том, почему не завершился его роман с Корвин-Круковской: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива». Достоевский переписывался с Анной Васильевной и после женитьбы на А. Г. Сниткиной. Сохранилось интересное письмо А. В. Корвин-Круковской к А. Г. Достоевской. Оно помещено в Приложениях (стр. 119).

[59] (стр. 105). После встреч и бесед с Анной Васильевной в 1865 г. Достоевский продолжал переписываться с ней — делился личными переживаниями, сообщал планы литературных замыслов, собирался даже приехать в Палибино. Однако в имение Корвин-Круковских не поехал. Не установлено также, виделся ли он с Анной Васильевной зимою 1865/66 г., но сохранилось письмо М. И. Семевского к Ф. М. Достоевскому от 27 февраля 1866 г. с извещением о приезде в Петербург Е. Ф. Корвин-Круковской с дочерьми. До нас дошло также письмо к Достоевскому от А. М. Евреиновой из Петергофа, помеченное 24 ноября, без года. А. Г. Достоевская правильно уточнила дату, приписав год — 1865. Евреинова посылала письмо с «верной прислугой». «Научившись уважать» Достоевского от Анны Васильевны, которая с нетерпением ждет его ответа, Евреинова просит его «доверить» ей «хотя несколько слов, которые завтра же отправятся радовать нашу славную Анну Васильевну». При этом подруга Корвин-Круковской заверяет, что письмо, посланное через нее, не будет прочитано посторонними.

Неизвестны письма Анны Васильевны к Достоевскому за это время,

хотя он сам с сожалением сообщал в мае 1868 г. А. Н. Майкову о том, что к нему в Женеву не дошло «чрезвычайно важное» письмо его «прежней знакомой» А. В. Корвин-Круковской. Но сохранилось упомянутое выше письмо ее отца к Федору Михайловичу. Оно послано из Витебской губернии в Петербург 14 января 1866 г. Кроме желания уязвить Достоевского, «поставить его на место», Василий Васильевич хотел этим письмом предупредить всякие интимности в отношениях Федора Михайловича с его дочерью при предстоящей поездке ее в Петербург ранней весной 1866 г.

«Милостивый государь, Федор Михайлович,— писал В. В. Корвин-Круковский.— Давно собирался я писать Вам, чтобы благодарить за живое участие, принятое Вами в литературных занятиях моей дочери, а вместе с тем уяснить несколько оригинальную сторону отношений, начатых моею дочерью под влиянием молодого восторженного авторского увлечения, доставившего, впрочем, как ей, так, надеюсь, и мне приятного в Вас знакомого. По возвращении жены моей с дочерьми из Петербурга, они сказали мне, что Вы располагали приехать летом отдохнуть у нас в деревне. Конечно, мы все были очень этому рады, я же надеялся личным свиданием с Вами упростить в нашем знакомстве все, что, по сложившимся обстоятельствам, было фантастического, тем более что письмо моей дочери с посылкой повести было во время моего отсутствия и оттого дало вид какой-то таинственности. Но когда за статью моей дочери были высланы деньги при одобрительном Вашем отзыве об ее молодом таланте, то это поставило дело, начавшееся неразборчиво, в двоякий вид: во-первых, дочь моя была озадачена высылкой денег, потому что ни обстоятельства, ни положение не влекли ее авторской фантазии к такому практическому результату, и обстоятельство это она уладила по влечению своего сердца; с другой же стороны — лестный Ваш отзыв об ее попытке служит ручательством, что она имеет задаток к развитию своего таланта, а так как между тем знакомство моей жены и дочери с Вами отчасти перешло уже с Парнаса в Витебскую губернию, то и все прежнее должно было вступить в область приятных отношений между людьми, взаимно друг друга уважающими. Я надеюсь, что Вы разделяете мой взгляд, тем более что мы с Вами переживая жизнь [т. е. будучи стариками], знаем из опыта, что многое кажется молодому воображению сквозь розовую призму. Надеюсь также, что мое искреннее письмо разъяснит те недоразумения, которые просвечиваются в Ваших письмах к моей дочери. Впрочем, оно иначе и быть не может: Вы ее совсем не знаете, Вам она должна была показаться в неестественном виде, и потому я полагаю, что лестную, впрочем, для нее иронию в письмах Ваших об ее предназначении и чувствах, словом, как говорится, в заоблачных краях. Итак, позвольте мне, оставя все недоразумения, просить Вас о продолжении знакомства Вашего; о чем сознаюсь, что при теперешней поездке моего семейства в Петербург я лишен буду удовольствия личного с Вами свидания, но прошу вас доставить это удовольствие моим. Со своей стороны буду весьма Вам обязан, если откровенно напишете Ваше мнение насчет литературных занятий моей дочери и, главное, ваш совет в отношении направления слишком пылкой фантазии под влиянием не совсем разборчивого чтения. Вот я уже обращаюсь к Вам, как к старому знакомому, в надежде взаимности и потому прошу Вас верить истинному моему почтению. Ваш покорный слуга В. Корвин-Круковский». Конечно, после этого письма Достоевский не мог поехать в Палибино.

Встречи Достоевского с Анной Васильевной возобновились и были часты в 70-х годах, когда она жила в Петербурге со своим мужем. Отраже-

ние этих встреч — в письмах Достоевского к жене, в воспоминаниях последней, в письмах Анны Васильевны к нему и его жене. А. Г. Достоевская свидетельствует о дружеских и частых встречах Федора Михайловича с А. В. Жаклар: «Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда, лет шесть спустя после свадьбы, я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренно полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми; но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким больным и раздражительным человеком, каким часто, вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович. К тому же она тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять много внимания семье... Лето (1878 г.) началось для нас очень приятно: в Руссу приехала на сезон А. В. Жаклар-Корвин с семьей, которую мы оба очень любили. Муж почти каждый день, возвращаясь с прогулки, заходил побеседовать с этой умной и доброй женщиной, имевшей значение в его жизни».

В ленинградском архиве Достоевского сохранилось относящееся к концу 70-х годов письмо к нему Анны Васильевны; «Многоуважаемый мой друг Федор Михайлович, я очень запоздала с обещанным ответом, но причиною тому моя неожиданная болезнь — острый припадок невралгии, которая схватила меня в четверг вечером, после заседания у Философовой, и продержала меня в сильном страдании трое суток... Не знаю, как я потрафила с ответом. Боюсь, не забыла ли я чего-нибудь. Жалею, что не записала тогда вечером с ваших слов по пунктам... До свиданья, дорогой мой друг Федор Михайлович,— буду Вас ждать теперь и добрейшую Анну Григорьевну с нетерпением. Крепко жму вашу руку. Ваша Анна Жаклар-Корвин».

Интересно также, как свидетельство дружеского общения Анны Васильевны с Достоевским, письмо ее к жене писателя от 29 сентября 1878 г. (см. в Приложениях, стр. 119 сл.).

А. Г. Достоевской пришлось после смерти мужа оказать значительную услугу Анне Васильевне. В связи с покушением на Александра III (1 марта 1887 г.) царские жандармы решили выслать Жаклара из России как радикального журналиста, имеющего связи с русскими подпольными организациями. Известие об этом едва не убило больную Анну Васильевну, которую муж должен был взять с собою в Париж. В два дня собрать тяжело больную женщину было невозможно, и А. Г. Достоевская упросила друга Федора Михайловича — главного вдохновителя тогдашней русской правительственой политики К. П. Победоносцева устроить высылаемому коммунару отсрочку, так как Достоевский «всегда искренно любил Анну Васильевну». Департамент полиции дал Жаклару отсрочку в 10 дней. В архиве Достоевских сохранилась французская записка Жаклара к Анне Григорьевне с благодарностью за ее хлопоты.

В своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская говорит о самом Жакларе мельком. В небольшой заметке, найденной мною в ее архиве, есть интересное замечание о Жакларе, характеризующее также отношение Достоевских к бывшему коммунару: «Федор Михайлович и я были очень дружны с Анной Васильевной, хотя совсем не любили ее несколько фатоватого и «либерального» мужа... Не симпатизируя нисколько самому Жаклару, но исключительно сочувствуя положению его больной жены, я решила оказать ей дружескую услугу и тотчас поехала к К. П. Победоносцеву».

К ПРИЛОЖЕНИЯМ

[60] (стр. 109). См. примечание 42-е. Наиболее существенные разночтения и зачеркнутые места указаны здесь или в тексте — в прямых скобках.

[61] (стр. 109). Вся фраза зачеркнута.

[62] (стр. 109). В рукописи: 1836 г.

[63] (стр. 110). Сенковский, Осип Иванович (1800—1858) — профессор восточных языков в Петербургском университете, журналист. Писал в редактируемой им (1834—1856) «Библиотеке для чтения» по всем вопросам знания и во всех родах литературы. Особенно был известен под одним из своих многочисленных псевдонимов «Барон Брамбеус». Беспринципнейший и пошлейший шут в литературе, Сенковский умел угождать вкусам мелкого мещанства и лакейства («никогда никаких идей, пишите весело, давайте только то, что общественный желудок переварит, от идей у него завалы, особенно от либеральных»). Достоевский, рассматривая деятельность Сенковского в свете своей идеи об учительной роли писателя, много раз печатно высказывался с презрением о нем и его журнале.

Кукольник, Нестор Васильевич (1809—1868) — ходульно-патриотический романист и драматург, враг литературного реализма, пользовавшийся защитой III Отделения от либеральной критики. Ф. В. Булгарин (1789—1859), продажный журналист, агент жандармского III отделения, и Сенковский уверяли читателей, что Кукольник талантливее Гоголя, но Сенковский не стеснялся иногда обливать своего «гениального» друга помоями.

[64] (стр. 110). Хороший знаток восточных языков и литературы, которые он с 1829 г. преподавал в Петербургском университете, Сенковский в молодости путешествовал по Азии и Африке, хорошо знал их быт и историю, но свои экзотические романы и повести наполнял главным образом беззастенчивым заимствованием у европейских писателей. Из Петербурга Сенковский выезжал часто.

[65] (стр. 110). Свои многочисленные пошлые любовные похождения Сенковский разглашал сам, заявляя, что они служат ему отдыхом от напряженной журнальной работы. Не менее известен был столичной публике пьяный разгул Кукольника и его друзей.

[66] (стр. 110). «Библиотека для чтения» — первый русский толстый журнал, рассчитанный на широкую публику. Был хорошо поставлен в коммерческом отношении, так как пользовался поддержкой правительства. В 30-х—40-х годах XIX в. — самое распространенное издание. Имел до 7000 подписчиков — цифра небывалая для того времени; отсюда непомерное преувеличение в передаче Ковалевской

[67] (стр. 111). Несмотря на отрицательное отношение к Некрасову, как своему политическому противнику, Достоевский всю жизнь признавал его большой поэтический талант и ставил его наряду с Пушкиным. Много таких высказываний в «Дневнике писателя». В 1845 г. Достоевский написал вместе с Некрасовым шуточную повесть «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (Соч., т. I, М.-Л. 1930, Стихотворения, ч. I, ред. К. Чуковского, стр. 215 и сл.; см. примечание там же, стр. 295). Раздражение Достоевского вызвала пародия на него Некрасова и И. С. Тургенева.

[68] (стр. 111). Хорошо знавший Некрасова еще в 40-х годах, Достоевский не мог говорить о деньгах, данных поэту его отцом; сама Ковалевская могла знать из обширной литературы о Некрасове, что он в моло-

дости бедствовал и разбогател именно на издательской деятельности, которую начал при помощи друзей.

[69] (стр. 111). «Современник» перешел к группе Некрасова — Белинского в 1847 г.

[70] (стр. 111). Вся фраза зачеркнута.

[71] (стр. 111). И. С. Тургенев уже в 1843 г. выпустил отдельной книжкой поэму «Параша», Л. Н. Толстой появился впервые в печати в 1852 г., М. Е. Салтыков — в 1847 г., А. Н. Островский — в 1847 г.

[72] (стр. 111). «Бедные люди» Достоевского появились в январе 1846 г. в «Петербургском сборнике» Некрасова.

[73] (стр. 112). В рассказе о «Бедных людях» и Белинском С. В. Ковалевская почти дословно повторяет рассказ Достоевского об этом в «Дневнике писателя» за январь 1877 г. (глава 2-я, § 4). В «Дневнике» только нет фразы о «грязном, дешевом разгуле», а говорится о чтении с приятелем «Мертвых душ».

[74] (стр. 113). Снова почти буквальное повторение текста «Дневника писателя» (там же).

[75] (стр. 113). И. С. Тургенев выступил в печати с первым прозаическим произведением — повестью «Андрей Колосов» — в 1844 г.; одновременно с «Бедными людьми» Достоевского в «Петербургском сборнике» напечатана повесть Тургенева «Три портрета»; в «следующем» (1847) году напечатаны: в «Современнике» — «Хорь и Калиныч», в «Отечественных записках» — «Бреттер». И. А. Гончаров напечатал первое свое произведение — повесть «Обыкновенная история» — в февральской книге «Современника» за 1847 г. А. И. Герцен печатался с 1836 г.; в 1847 г. был выпущен приложением к № 1 «Современника» его роман «Кто виноват?», печатавшийся в «Отечественных записках» с 1845 г.

[76] (стр. 113). Весь абзац в рукописи зачеркнут.

[77] (стр. 114). Отдельные кружки, из которых сложилось тайное общество петрашевцев, возникли в середине 40-х годов XIX в. Главный деятель их, по имени которого названо общество,— Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821—1866). Достоевский примкнул к обществу осенью 1848 г., хотя был знаком с Петрашевским и посещал его еще за три года до раскрытия организации. Военный суд приговорил Достоевского за участие в кружках Петрашевского, «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева — лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Генерал-аудиториат (высшая инстанция) предлагал лишить Достоевского «всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет». Николай I заменил приговор следующей резолюцией: «на 4 года, а потом рядовым». Но «милости» генерал-аудиториата и царя были объявлены Достоевскому и его товарищам только на эшафоте. После того как пред ними была полностью проделана жуткая процедура приготовления к смертной казни, вплоть до увещания священника «покаяться» перед смертью, была разыграна комедия «помилования» с прискакавшим от имени царя фельдъегерем и т. п. Упоминаемое в приговоре письмо Белинского — знаменитое письмо к Гоголю по поводу его реакционной «Переписки с друзьями».

[78] (стр. 114). После этого в рукописи — подробный, много раз в литературе повторявшийся и у самого Достоевского встречающийся рассказ об аресте петрашевцев и суде над ними. Опускаю здесь то, что в изложении С. В. Ковалевской не дает ни одного дополнительного штриха к литературным источникам. Дальше — о сцене казни — изложено у Ковалевской в соответствии с «Материалами» О. Ф. Миллера.

[79] (стр. 114). Товарищ — С. Ф. Дуров.

[80] (стр. 114). Это было арестантское платье для осужденных.

[81] (стр. 114). Товарищ — Н. А. Момбелли.

[82] (стр. 114). Это П. Г. Шапошников.

[83] (стр. 114). Рассказ о солнечных лучах сходен с изложением переживаний ожидающего смертной казни через расстрел в романе Достоевского «Идиот» (т. I, ч. 2-я, гл. 5-я — рассказ князя Мышкина Аглае Епанчиной).

[84] (стр. 115). На этом рассказ о сцене казни в рукописи С. В. Ковалевской обрывается.

[85] (стр. 115). В рукописях С. В. Ковалевской в архиве Академии Наук СССР сохранился на двух листках набросок (по-русски) к автобиографической повести «Сестры Раевские», написанной по-шведски. В этой повести Ковалевская использовала почти дословно свои «Воспоминания детства», изменив личные местоимения, придав сестре, матери и другим членам семьи Корвин-Круковских имена Раевских (Таня, Аня, Елена) и соответственно отредактировав текст. В упомянутом наброске — не включенный в «Воспоминания» любопытный рассказ Тани Раевской (Софьи Ковалевской) о ее детской влюбленности в Достоевского, который в повести назван своей настоящей фамилией. Рассказ начинается с половины фразы о переживаниях 14-летней девочки, влюбленной в 44-летнего писателя, и дополняет соответственный текст «Воспоминаний детства» (см. стр. 100 и сл.). Зачеркнутое приводится в прямых скобках.

[86] (стр. 115). Весь следующий текст до конца абзаца зачеркнут.

[87] (стр. 116). Все письма С. В. Ковалевской к Ф. М. Достоевскому печатаются с подлинников из архива А. Г. Достоевской в Рукописном отделе Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Письма не датированы, но А. Г. Достоевская отметила на листке, в который они вложены: «Все письма без обозначения года и числа — 1876—1878 годов, когда Ковалевская жила в Петербурге». На одном письме имеется пометка Анны Григорьевны, уясняющая дату. По содержанию эти пять писем относятся к 1876—1877 гг. По датам писем Достоевского за эти два года к разным лицам видно, что в 1876 г. он был: в Петербурге — с января по июнь, в Старой Руссе — во второй половине июня, в Берлине и Эмсе — с 7 июля по 6 августа, в Старой Руссе — с 21 августа, в Петербурге — с 29 августа до конца года; в 1877 г.: в Петербурге — с начала года по 19 мая, в Малом Приколе (Курской губернии) — в июне, в Петербурге — с конца июня до конца года. Все письма Ковалевской пересылались в Петербурге с нарочным. Приведенные справки о местонахождении Ф. М. в 1876—1877 гг. несколько уточняют даты писем С. В. Ковалевской к нему.

[88] (стр. 116). На письме пометка рукою А. Г. Достоевской: «1876».

[89] (стр. 116). В. С. Гончарова (род. в 1850 г.) — дочь брата Нат. Ник. Пушкиной. С. В. Ковалевская была с ней хорошо знакома, изобразила ее в романе «Нигилистка». Здесь героиня названа графиней Верой Баранцовой (в черновой рукописи иногда — Верой Воронцовой). Жених ее в романе — студент-медик Павленков. Это привлеченный к делу 193-х студент Медико-хирургической академии пропагандист И. Я. Павловский (род. в 1852 г.), который позднее скатился в реакционное болото и был одним из ближайших сотрудников «Нового времени» в период его самого подлого, продажного направления. В романе Ковалевской Вера, не знавшая раньше Павленкова-Павловского, вышла за него замуж в крепости «просто потому, что должна была выйти, потому что это было единственным средством спасти его». Ей сказали, что осужденным женатым дают некоторые льготы, что женам разрешают следовать за ними, облег-

чать их тяжелую участь. Таким образом, это был со стороны Веры акт самопожертвования. В романе Вера отправляется за Павленковым в Сибирь, радуясь, что сумеет там помогать и другим осужденным политическим. В действительности все произошло иначе. Павловскому было по делу 193-х зачтено в наказание предварительное заключение, потом он был сослан в Архангельскую губернию за участие в демонстрации после оправдания Веры Засулич и вскоре бежал за границу. В Париже он разыскал Гончарову и стал ее мужем. Ковалевская рассказала своей приятельнице, польской революционерке М. В. Мендельсон, что участь героини ее «Нигилистки» была плачевной. «С трудом я узнала в ней ту,— говорила Софья Васильевна,— два года назад красивую, молодую девушку: черты лица, изборожденные горем, покрасневшие глаза, мертвенная бледность лица изменили ее до неузнаваемости. Рыдая, она раскрыла передо мной печальную истину своей жизни: герой ее мечтаний стал обыкновенным домашним тираном, эгоистом, не заботящимся ни о жене, ни о ребенке и расточающим до последнего гроша деньги, которые присылали дочери ее родители; тогда как он проводил время в клубах и театрах, она терпела нужду, и часто у нее не было денег на хлеб для детей». Ковалевская навещала В. С. Гончарову и убедилась, что истина была еще печальнее, чем рассказывала молодая женщина.

[90] (стр. 116). Кони, Анатолий Федорович (1844—1927), был председателем петербургского окружного суда во время разбора дела Веры Засулич (31 марта 1878 г.), обвинявшейся в покушении на петербургского градоначальника, генерала Ф. Ф. Трепова (24 января 1878 г.). Вера Засулич была оправдана в значительной степени благодаря тому, что процесс вел А. Ф. Кони. Он должен был помочь Гончаровой добиться разрешения на свидание с Павловским. Достоевский был знаком с А. Ф. Кони с 1873 г., когда последний оказал знаменитому писателю услугу в связи с его литературно-судебным делом.

[91] (стр. 117). В литературе о Достоевском я не нашел сведений о замысле романа «Мечтатель». Исследователь творчества Достоевского, Л. П. Гроссман сообщил мне по поводу комментируемого письма: «Некоторые из указаний Софьи Ковалевской в ее письме, а именно: «роман о «Мечтателе», «желание разбогатеть во что бы то ни стало», «выслеживать способ для этого», «мысль о богатстве отступает на второй план» (перед новым более смелым замыслом) — все это довольно близко ассоциируется с «Подростком» (мечты стать Ротшильдом и пр.). Но «Подросток» писался в 1874—1875 гг., после же 1876 г., единственный роман Достоевского — «Карамазовы».

[92] (стр. 117). Упоминание «адских часов» Томаса позволяет уточнить дату письма. В «Новом времени» за вторую половину марта и за апрель 1876 г. есть объявление о том, что в музее И. Б. Гасснера в Пассаже показывается адская часовая машина убийцы Томаса. Демонстрация этого музейного экспоната вызвана была историей, происшедшей 11 декабря 1875 г. в порту гор. Бремергафен (Германия) и рассказанной в тогдашних газетах. Американец Томас устроил начиненную динамитом адскую машину, которая должна была в определенный момент в открытом море взорвать пароход с застрахованным в большую сумму грузом Томаса. Последний надеялся разбогатеть на страховой премии за свой груз. Но Томас плохо рассчитал завод машины, взорвавшейся в его руках на набережной, когда он собирался взойти на пароход. При этом вместе с Томасом погибло много посторонних людей.

[93] (стр. 117). Письмо датируется, приблизительно, годом смерти двух старых теток матери С. В. Ковалевской, дочерей академика Ф. И. Шу-

берта — Фредерики Федоровны (род. в 1794 г., ум. 20 февраля 1876 г.) и Вильгельмины Федоровны (род. в 1792 г., ум. 8 февраля 1877 г.).

[94] (стр. 118). Из посланных Софьей Васильевной при этом письме изданий ее мужа в библиотеке Достоевского сохранились почти все книги, выпущенные В. О. Ковалевским в 1876—1877 гг. в серии «Древних классиков для русских читателей» (Гомер, Аристофан, Виргилий и др.), а также «Литературные воспоминания» И. И. Панаева (1876 г.).

[95] (стр. 118). Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912) — редактор и издатель газеты «Новое время», в которой работали в 1876 г. С. В. и В. О. Ковалевские. Основанная в 1868 г., захудалая, никем не читаемая газетка «Новое время» была приобретена в феврале 1876 г. талантливым либеральным публицистом А. С. Сувориным. Денежную помощь оказал ему приятель В. О. Ковалевского, бывший правовед, богатый столичный домовладелец, городской общественный деятель и мировой судья, а впоследствии петербургский городской голова и сенатор — В. И. Лихачев. Он и втянул в это дело В. О. Ковалевского. Неукротимая энергия, опытность в типографско-издательском деле, разносторонняя образованность, богатое политическое прошлое — от подпольных и радикальных кружков, через лондонские и континентальные европейские эмигрантские колонии, до гарибальдийского отряда, огромная работоспособность и свойство с энтузиазмом отдаваться каждому очередному увлечению делали Владимира Онуфриевича незаменимым человеком для новой газеты. Вокруг «Нового времени», призванного бороться с влиянием оппортунистического, угодничающего правительству и подкупленного им либерального «Голоса», объединились все лучшие силы тогдашней петербургской газетной публицистики. В «Новом времени» печатались также в 1876—1877 гг. Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков, Ф. Ф. Эрисман, И. С. Тургенев, С. А. Венгеров и мн. др. Писала там на театральные и научные темы и С. В. Ковалевская. Всю черновую организационную работу взял на свои плечи В. О. Ковалевский, который устроил для газеты типографию, работал в качестве фактического редактора, был ночным выпускающим, писал безыменные передовые статьи, репортерскую хронику и научно-популярные фельетоны за своей подписью. «Новое время» стало самой популярной из всех тогдашних русских либеральных газет; тираж газеты увеличивался со дня на день. Приспособляясь к интересам мелкопоместного дворянства и торгово-промышленного класса, Суворин стал исподволь менять направление своего издания, и вскоре из-за культурного и либерального обличья «Нового времени» вылезла рожа реакционной газеты-пенкоснимательницы. Все прогрессивные писатели с негодованием покинули газету, где стали господствовать Подхалимовы, где защита самодержавия и политического мракобесия стала главным делом. Суворин не печалился и об уходе Ковалевских, тем более что к тому времени типография «Нового времени», принадлежавшая В. О. Ковалевскому, при помощи Лихачева перешла к Суворину.

[96] (стр. 118). «Анна Каренина» Л. Н. Толстого печаталась в «Русском вестнике» несколько лет: в 1875 г., №№ 1—4; в 1876 г., №№ 1—4 и 12; в 1877 г., №№ 1—4. Восторженный отзыв С. В. Ковалевской об этом романе Н. Н. Страхов передал Л. Н. Толстому в письме от 21 апреля 1877 г.

[97] (стр. 118). Фельетоны за подписью IV об «Анне Карениной» печатались в газете «Голос», в №№ 13 (от 13 января), 41 (от 10 февраля), 69 (от 10 марта), 95 (от 7 апреля) и 104 (от 26 мая). Последняя статья больше всего могла интересовать Достоевского. В ней автор говорит, что по силе психического проникновения может сравниться с Толстым только Достоевский, у которого, однако, не в пример эпиче-

скому описанию Толстого, встречаются болезненные ноты. В той же статье приводится отзыв об «Анне Карениной» газеты «Северный вестник», где сравниваются художественные дарования Толстого и Тургенева и восхваляется второй. И это могло интересовать Достоевского, который ревниво следил за необыкновенным успехом «Анны Карениной» у читателей и критиков. Еще в феврале 1875 г., при появлении в печати первых глав «Анны Карениной», Достоевский писал жене по поводу похвал критики новому роману Толстого: «Чем они восхищаются, понять не могу».

[98] (стр. 118). Печатается с подлинника из архива вдовы Ф. М. Достоевского, Анны Григорьевны (Сниткиной).

[99] (стр. 119). Печатается как заключительный документ к истории знакомства Ф. М. Достоевского с А. В. Корвин-Круковской и сватовства к ней. Подлинник в архиве А. Г. Достоевской в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве. См. примеч. 58-е (стр. 168). На бумажной папке, куда вложено письмо, рукою А. Г. Достоевской: «Жаклар-Корвин Анна Васильевна, писательница, б. невеста Фед. Мих. Достоевского». См. еще примеч. 175-е (стр. 197 и сл.).

[100] (стр. 119). Хрестоматия — руководство по французскому языку для воспитанниц средних и старших классов женских учебных заведений, составленное В. Жакларом при содействии Анны Васильевны (два тома, Спб. 1877—1878).

[101] (стр. 120). Достоевские жили в районе Невского, у Николаевского вокзала.

[102] (стр. 120). Путешествие Достоевского в Москву — по своим литературно-издательским делам.

[103] (стр. 121). Представлено С. В. Ковалевской в Геттингенский университет в июне 1874 г., при диссертации на степень доктора философии (по математическому факультету). Написано по-латыни. Напечатано Г. Миттаг-Леффлером в его статье «Вейерштрасс и Софья Ковалевская», стр. 147 сл.

[104] (стр. 121). В официальных документах, в сообщениях родных и друзей С. В. Ковалевской, во всех биографических очерках, напечатанных после ее смерти,— дата ее рождения: 3(15) января 1850 г.

[105] (стр. 121). Об отношении гейдельбергских профессоров к вопросу о допущении С. В. Ковалевской в университет см. в Приложениях ее письмо к Ю. В. Лермонтовой от 16(28) апреля 1869 г. (стр. 141).

[106] (стр. 121). К. Вейерштрасс и сам писал геттингенскому математику Л. Фуксу по вопросу о присуждении С. В. Ковалевской ученой степени. В письме от 27 июня 1874 г. Вейерштрасс заявляет, что Ковалевская сильна в различных отделах математики и несомненно сделает в науке нечто существенное. Он сам допустил бы каждую из представленных ею работ в качестве диссертации. А так как Ковалевская представляет несколько работ, то Вейерштрасс считает справедливым, чтобы ей была присуждена степень без личной защиты. Вейерштрасс уверяет, что имел мало учеников, которых можно было бы сравнить с Ковалевской по способности к восприятию и к собственному суждению. В письме от 3 июля Вейерштрасс касается сообщения из Геттингена о том, что в факультете возникло сомнение по вопросу о присуждении Ковалевской ученой степени. Факультет встретил затруднение в том, что Ковалевская не занимает никакой официальной должности и даже не домогается таковой. Вейерштрасс напоминает, что Геттингенский университет присуждал ученые степени иностранцам при таких же условиях. Что касается заочного присуждения, то Вейерштрасс просит об этом не потому, что у Ковалевской недостает знаний. В этом отношении она сильна, как редко бывает силен кандидат. Но Ковалевская до сих пор вела замкнутый образ жизни.

Вследствие этого она застенчива и не может свободно говорить с чужими. К этому присоединяется необыкновенная умственная подвижность ее. Мысли ее текут быстро, слова не могут поспеть за ними, особенно на чужом языке. Вейерштрасс уверяет, что нет никаких причин подвергать Ковалевскую экзамену, но он горячо желает, чтобы она получила степень. В письме от 19 июля одновременно Ковалевская посылает в Геттинген две свои работы — автобиографию на латинском языке и немецкое письмо к декану (оно печатается вслед за комментируемым документом). В письме от 21 июля Вейерштрасс передает факультету просьбу Ковалевской: если факультет откажет в заочном присуждении степени, то пусть объяснит этот отказ не тем, что она женщина, а невозможностью присудить степень без экзамена. Быть может, Ковалевская преодолеет застенчивость и явится в университет для испытания. Но Вейерштрасс все-таки горячо просит освободить Ковалевскую от экзамена. При ее молодости и нежном сложении возбуждение от экзамена может вредно отразиться на ней. Факультет должен согласиться, что студент, самостоятельно занимающийся исследованиями, подобными тем, которые выполнила Ковалевская, представляет собою нечто необычайное.

[107] (стр. 122). Печатается по тексту, опубликованному в книге А.-Ш. Леффлер о Ковалевской (1893 г.), стр. 125—127.

[108] (стр. 122). Такие же мотивы выставляет Вейерштрасс в упомянутом выше письме от 3 июля.

[109] (стр. 122). Печатается по тексту журнала «Русская старина» (1891, № 11, стр. 450—463). Представляет собою стенографическую запись рассказа С. В. Ковалевской в мае 1890 г. в редакции названного журнала. Просмотрено и подготовлено к печати братом Софьи Васильевны, Ф. В. Корвин-Круковским.

[110] (стр. 123). О дяде Корвин-Круковском см. в главе 5-й «Воспоминаний детства» (стр. 42 сл.).

[111] (стр. 125). В «Воспоминаниях детства» учитель не назван. Здесь его фамилия упомянута, несомненно, под влиянием редактора «Русской старины» М. И. Семевского — ученика и друга Малевича.

[112] (стр. 125). И. И. Малевич напечатал при жизни С. В. Ковалевской «Воспоминания» о своей ученице. Прочитав в комментируемом рассказе строки, отмеченные настоящим примечанием, Малевич прислал Семевскому обширное и сердитое разъяснение, оставшееся ненапечатанным. Приведу из рукописи несколько отрывков, интересных для биографии Ковалевской.

«В 1887 г. я возобновил переписку с С. В. по случаю принятого ею предложения Стокгольмского университета и вскоре получил любезное письмо с изъявлением искренней благодарности за девятилетнее мое преподавание, проложившее ей дорогу к высшим знаниям. В следующем, 1888 г., когда С. В. за научный подвиг получила высшую награду от Парижской Академии Наук, я был так обрадован, что решился написать «Воспоминания» о ее учебных трудах в течение девяти лет и последующем времени до получения ею высшей ученой степени, с целью сохранить материал для биографии и ознакомить наше общество с женщиною-феноменом. Поздравляя ее с великим научным успехом, я сообщил, что пишу «Воспоминания» о моих педагогических трудах с нею, которые ты желаешь поместить на страницах «Рус. старины». Это, повидимому, ее как будто встревожило. Она писала мне из Парижа, что «боится быть в печати», а потому убедительно просит: нельзя ли прислать мою рукопись для сличения с ее собственными «Воспоминаниями», которые она пишет по просьбе некоторых своих друзей; что же касается портрета ее для моих «Воспоминаний», то немедленно вышлет, теперь же посылает реше-

ние ею вопроса о движении твердого тела вокруг неподвижной точки, напечатанное в журнале Acta mathematica. А потому я послал в Париж четыре тетради «Воспоминаний» с представлением полного права сделать не только какие-либо поправки, но и выпускать хоть целые страницы, если они ей не нравятся.

В сентябре месяце, на возвратном пути в Швецию, С. В. уведомила меня в большом письме из Берлина, что хотя она прочитала с большим интересом мои «Воспоминания», но желая, по моему дозволению, выпустить некоторые места, она, возвратившись в Стокгольм, прочтет еще раз с большим вниманием и тогда отошлет мою рукопись со своим портретом. Только в октябре я получил мои «Воспоминания» с письмом, в котором С. В. просит при переписке набело исключить места, взятые в скобки, и поместить несколько небольших прибавок, написанных ею на полях. Исключено: характеристика гувернантки-англичанки; вредное влияние воспитания на развитие и направление характера С. В., что и она сама сознавала; чудовищные музыкальные уроки при сильном стучании палочкой по фортепьяно и страшном крике, раздававшемся по всему дому, и др. Выпущено также несколько мест, где говорится о строптивом и необузданном характере старшей сестры С. В., имевшем также дурное влияние не только на характер, но и направление последней; затем исключен период времени, в котором С. В., бросивши ученые занятия и считая их бесполезными для женщины, жалела потраченного времени для науки, и, сверх того, зачеркнуты несколько страниц, на которых описывается довольно подробно необдуманное предприятие Ковалевского, доведшее его до полного разорения...

Заметь же теперь, что С. В. после зрелого обсуждения и очистки моих «Воспоминаний» подтвердила в полной мере все то, что говорится об ней; а потому рассказ ее... бросает сильную и вместе с тем достойную удивления, непонятную тень на мое повествование и заставляет сомневаться в правде. «Воспоминания» мои о лице, находящемся тогда в живых, после двукратного чтения их, поправок и исключения многих мест, сделанных этим же лицом, остались чистым зеркалом, отражающим весь ход моих занятий с С. В.; они далеки от тех фантазий и уклонения от истины, так часто попадающихся в поэтизированных «Воспоминаниях» С. В., на которые я указывал с немалым удивлением, когда эти «Воспоминания» ты читал нам в Федорцове.

Приступаю к обзору тех мест напечатанного рассказа Софьи Васильевны, где она говорит обо мне... На 4-й странице рассказа, к удивлению всякого, не потерявшего здравый смысл, находим следующее: «это было так давно, что теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием!» Эта странная выходка ради красного словечка бросает сильную тень на светлую до сих пор личность необыкновенного математика...»

Затем следует пространная полемика с С. В. Ковалевской по поводу ее рассказа о положительном влиянии дяди П. В. Корвин-Круковского на ее математическое развитие. После этого — уверения, что именно Малевичу обязана Ковалевская своими успехами в высшей математике, а не Страннолюбскому.

113 (стр. 127). Письма Вейерштрасса к С. В. Ковалевской за 1871—1890 гг. опубликовал Г. Миттаг-Леффлер в названной выше статье. Ее письма Вейерштрасс сжег после ее смерти.

114 (стр. 127). См. письмо С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому от 14 ноября 1875 г. (стр. 143) и за май 1877 г. (стр. 146 и сл.)

115 (стр. 127). См. примеч. 95-е.

[116] (стр. 132). Записано С. В. Ковалевской в «Альбом» М. И. Семевского. Напечатано в «Русской старине» № 9 за 1891 г.

[117] (стр. 134). Из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая».

[118] (стр. 135). Сохранилось свыше двухсот писем С. В. Ковалевской к разным лицам. Некоторые из них опубликованы в разных изданиях. Подлинники многих писем — напечатанных и неопубликованных — хранятся в Архиве Академии Наук СССР. Здесь печатаются 16 писем автобиографического содержания, относящиеся, в основном, к студенческому и профессорскому периодам жизни С. В. Ковалевской. Мелкие исправления корректурного свойства не оговариваются.

[119] (стр. 135). Печатается с подлинника. Это — первое письмо С. В. Корвин-Круковской к ее жениху.

Владимир Онуфриевич Ковалевский (1842—1883) — сын мелкопоместного дворянина Двинского уезда Витебской губернии. В 1861 г. блестяще окончил училище правоведения. Мог сделать, подобно своим товарищам по школе, большую административную карьеру. Увлекся естествознанием. За 5—6 лет издал около 50 книг из этой области науки, в том числе капитальные сочинения Дарвина, Ляйэлля, Фогта, Брэма и других. Сблизился с радикальными и революционными кружками, оказывал им значительные услуги. В 1861—1862 гг. жил у Герцена в Лондоне. По некоторым сведениям участвовал в польском национально-освободительном восстании 1863 г. В 1866 г. участвовал в итальянской национально-освободительной войне под предводительством Гарибальди.

В 1868 г. В. О. Ковалевский женился фиктивным браком на С. В. Корвин-Круковской, чтобы освободить ее от юридического подчинения отцу и дать ей возможность учиться в высшей школе. Уехал с нею в 1869 г. за границу. Занявшись специально зоологией ископаемых позвоночных, создал в течение двух-трех лет — на основе теории Дарвина — несколько классических работ, послуживших основой научной сравнительной палеонтологии. Дарвин считал его работы важнейшей опорой своей эволюционной теории. Идеи Ковалевского, начиная с середины 70-х годов XIX в. и вплоть до наших дней, разрабатываются учеными России, Англии, Америки, Бельгии, Франции, Германии. Знаменитейшие представители науки всего культурного мира в области палеонтологии признают Вл. Ковалевского своим гениальным учителем.

По различным, трагически для В. О. Ковалевского сложившимся обстоятельствам, он не имел возможности, по возвращении из-за границы в 1874 г., занять кафедру в отечественном высшем учебном заведении. Вынужденный заниматься издательскими, строительными и другими промышленными спекуляциями (см. письма С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому, стр. 143 и сл.), В. О. Ковалевской отошел от научной работы. Избрание его в 1881 г. на кафедру геологии в Московском университете не спасло положения. Потеряв душевное равновесие, он под влиянием морального угнетения потерял волю к борьбе за свои научные интересы и в апреле 1883 г. покончил самоубийством.

Научные идеи В. О. Ковалевского широко распространены среди советских палеонтологов, творчески разрабатывающих его наследство и развивающих мысли великого русского ученого в своих исследованиях. В настоящее время при Академии Наук СССР создается музей имени Владимира Ковалевского.

[120] (стр. 135). Жанна — Анна Михайловна Евреинова (1844—1919) — дочь генерала, заведывавшего городом дворцового ведомства в Павловском, первая русская женщина, получившая ученую степень доктора прав. С молодых лет ей стали, как она заявляла впоследствии, «невыносимы балы,

выезды и наряды»; «не хотела быть дамой гостиных», «попала в кружок передовых людей», стала читать книги по естествознанию и праву, «увлекалась Бентамом»; только потому, что при дворе надо было знать немецкий язык, отец разрешил пригласить учителя немецкого языка, но Евреинова уговорила его «подменить немецкий язык древними; изучала их по ночам, после выездов и балов, при свече, под страхом быть пойманной». В 1866 г. просила отца отпустить ее за границу — учиться в университете; отец обещал отпустить через 3 года. В 1869 г. возобновила просьбу. «Гнев отца не имел границ», и он сказал, что «лучше увидит дочь в гробу, чем в университете». 10 ноября 1869 г., при содействии Ковалевских, «перешла границу дорогою контрабандистов, не без риска для жизни». В Лейпциге профессора не хотели допустить Евреинову в университет, занее «заступился саксонский король Иоанн I, в присутствии которого блестяще сдала экзамены» в 1873 г. Объездила с научной целью Францию, Англию, Италию, разные славянские страны, изучала обычное право южных славян по документам в монастырях Адриатического побережья. Завершив учение, Евреинова стала ревностной поборницей женского равноправия; выступала с докладами в России, Европе и Америке; печатала статьи на юридические темы — преимущественно в связи с вопросами женского равноправия. После закрытия «Отечественных записок» Евреинова издавала (с 1885 по 1889 г.), при материальном содействии А. В. Сабашниковой, «Северный вестник», куда привлекла Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, Гл. И. Успенского (см. В. Лествицын; Ариан — на 1905 год, стр. 376 сл.; Пименова, стр. 142; Гаршин, стр. 365 сл.).

121 (стр. 135). Хорошие люди — на условном языке сестер Корвин-Круковских и всего их кружка — кандидаты в фиктивные мужья для девушек, желающих освободиться от гнета буржуазной семьи и получить возможность учиться в университете; фиктивные женихи назывались также «консервами». За день до этого письма, 24 июля, В. О. Ковалевский писал Софье Васильевне из своей деревни Шустянки: «Я выеду в Петербург сегодня вечером и в четверг в 12 часов буду там,— мне ведь еще предстоят на этой неделе визиты всем моим будущим родственникам, а в понедельник я поеду в Петергоф для исполнения Ваших общих поручений Жанне... В Петербурге, конечно, первым моим делом будет производство по Вашему поручению смотра и отобрания более годных экземпляров для приготовления консервов; посмотрим, каково-то удастся этот новый продукт».

122 (стр. 135). Хороший брат, добрый брат — так звала С. В. Ковалевская своего мужа в период их фиктивного брака.

123 (стр. 135). Мария Александровна — Обручева (1839—1929), дочь генерала. Под влиянием социалистических идей, распространявшихся Н. Г. Чернышевским в «Современнике», стремилась к образованию и независимости. Желая освободиться от тяжелой опеки семьи, вышла замуж фиктивным браком за медика П. И. Бокова (1835—1915). Он происходил из крестьян, примыкал к радикальным и революционным кружкам 60-х годов, был другом Н. Г. Чернышевского, разделял его идеи об освобождении женщины от рабской подчиненности мужу. Скоро брак Боковых превратился в фактический. С 1859 г. М. А. посещала университетские лекции, а позднее вместе с Н. П. Сусловой лекции в Медико-хирургической академии, в том числе лекции знаменитого физиолога И. М. Сеченова. Бокова и Сеченов увлеклись друг другом. Произошло сближение. Это не нарушило, однако, дружеских отношений между Боковым и Сеченовым и между Боковым и Марией Александровной. Они жили вместе, сообща принимали гостей, сообща устраивали вечера. Сохранилась визитная карточка Бокова с такой надписью: «П. И. Боков и И. М. Сеченов приглашают Чернышев-

ского и Александра Николаевича Пыпина [двоюродного брата Чернышевского] по случаю окончания экзаменов Марии Александровны». Записка относится к 1861—1862 гг. В конце 60-х годов Сеченовы разъехались с Боковым, который, в свою очередь, нашел новую семью. К нему ушла жена статс-секретаря Государственного совета Т. П. Измайлова, страдавшая от деспотизма мужа. Боков и Измайлова переехали в Москву. Мария Александровна и Сеченов вели отдельную жизнь. Боков сохранил с ними дружеские отношения и продолжал в 70-х годах заботиться об удобствах своей бывшей жены, а она тогда еще называла его своим мужем. Когда царское правительство удалило женщин из Медико-хирургической академии, М. А. Бокова уехала доучиваться в Швейцарию. В Цюрихе она получила диплом врача и защитила весной 1871 г. докторскую диссертацию. Затем работала в Вене и в Лондоне. Вернулась в Россию в середине 70-х годов; работала по своей специальности окулиста, переезжая из города в город вместе с Сеченовым. Отношения Сеченовых и Бокова были одним из примеров строительства нового быта, новых семейных начал; этот пример использован Чернышевским в романе «Что делать?» Здесь выведены: М. А.— под именем Веры Павловны, Сеченов — под фамилией Кирсанова, Боков — под фамилией Лопухова. Мария Александровна еще долго носила фамилию первого мужа; лишь в конце 80-х годов ей удалось получить официальный развод (попытки делались еще в 1872 г.— см. «Звенья», III — IV, стр. 888 сл.) и оформить свой брак с Сеченовым. В письме от 15/27 сентября 1888 г. Софья Васильевна запрашивала из Стокгольма Ю. В. Лермонтову: «Правда ли, что Сеченов и Мария Александровна обвенчались церковным браком?» К этому времени относится рассказ В. А. Пыпиной из ее воспоминаний о Сеченовых: «Когда он [И. М.] заезжал в Петербург и был у нас, он вдруг отвел маму [Ю. П. Пыпину] в сторону и сказал: «Вам я хотел сказать: мы с Марией Александровной женились» (Т. А. Богданович — «Любовь людей 60-х годов», Лен., 1929, стр. 431 сл.). М. А. Сеченова пережила всех своих друзей-современников и умерла в Москве 90 лет от роду. В завещании писала: «Ни денег, ни ценных вещей у меня не имеется... Прошу похоронить меня без церковных обрядов, как можно проще и дешевле... подле моего мужа» (ср. примеч. 134-е).

[124] (стр. 135). Без просмотра писем отцом.

[125] (стр. 135). П. Тк.— Петр Никитич Ткачев (1844—1886). Вместе с С. Г. Нечаевым принимал участие в организации революционного движения в Петербурге и других городах. Ткачев подвергался арестам, сидел в крепости; по Нечаевскому делу осужден в тюрьму; в 1873 г. эмигрировал. А. М. Евреинова писала 15 ноября 1868 г. в Москву Ю. В. Лермонтовой: «Вы пишете мне про статью Ткачева. Действительно, эта статья того самого, которого я знаю, и всякий раз, что бываю в Петербурге у сестер, всегда урываюсь и к нему. У него могу я встретить людей, которые бы охотно оказали услугу освободить нас. Личность эта далеко не обыкновенная, но хорошая и глубоко сочувствующая женскому делу. Крайний радикал по убеждениям, и вообще мы сходимся, очень сходимся во многом, касающемся дела. Познакомилась я с ним именно вследствие названной вами статьи. По прочтении ее в книжках «Дела» я нашла должным заявить ему полное и искреннее сочувствие, как женщина, борцом за которую он так выказал себя. На это письмо получила я от него славное письмо... очень просил устроить знакомство с ним... Надеюсь, что это будет небесполезно для нас... С нетерпением ожидаю я появления в печати одной его переводной работы «Рабочий вопрос».

Интересовавшая сестер Корвин-Круковских статья Ткачева «Люди будущего и герои мещанства» написана по поводу романов Ф. Шпильгагена

«Один в поле не воин», Дж. Элиот «Феликс Гольт — радикал», Ж. Занд «Леди Меркем», А. Лео «Возмутительный брак», в которых «затрагиваются интересы современной жизни» и которые «рисуют... не только современного человека таким, каким он есть, но и каким он должен быть по понятиям мыслящего меньшинства» («Дело», 1868 г., №№ 4 и 5; перепечатано в «Избранных сочинениях», под редакцией Б. П. Козьмина, т. I, М. 1932, стр. 173 сл.). Переводная работа Ткачева — книга Бехера «Рабочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению», за которую он был привлечен к суду.

[126] (стр. 136). «Крошка Доррит» — роман Ч. Диккенса.

[127] (стр. 136). Баденские и Штутгардтские окрестности — условное название для теток С. В. — сестер ее матери, живших в окрестностях Петербурга. В. О. Ковалевский писал Софье Васильевне 31 июля 1868 г.: «Вот уже целая вечность, как мы расстались, мой милый, чудный друг, и я опять начинаю считать дни, которые остались до нового свидания; впрочем, у меня очень мало времени предаваться этому полуарифметическому и полусантиментальному занятию, так как дела и хлопоты поглощают все время... Прежде всего я принялся в городе за отыскание квартиры... Комнаты у нас страсть какие высокие и светлые до крайности; вообще внутренность квартиры крайне веселая, несмотря на некоторые внешние неудобства... В Павловске я был в пятницу [у тетки С. В.] и обошелся очень удовлетворительно без изучения Штутгардтского и Баденского гидов и вообще провел хороший вечер, нимало не скучая; не могу, однако, ручаться за то же самое относительно моих собеседников. В Царском был, но не застал бразильских тетушек дома».

[128] (стр. 136). Печатается по тексту журнала «Голос минувшего» (1916, № 3, стр. 213 сл.); подлинник не найден; обращено к сестре и к А. М. Евреиновой.

[129] (стр. 137). Суслова, Надежда Прокофьевна (1843—1918) — дочь крепостного крестьянина графов Шереметевых, у которых ее отец позже был главноуправляющим. Человек значительного развития и большой начитанности, он дал своим детям высшее образование. В начале 60-х годов Суслова была допущена Сеченовым и Грубером в Медико-хирургическую академию, откуда устранена в 1864 г.; поехала в Швейцарию, где в 1867 г. окончила Цюрихский университет со степенью доктора медицины. Здесь познакомилась с Ф. Ф. Эрисманом (1842—1915), за которого вышла замуж и который в связи с этим переехал в Россию (1869); Эрисман был крупным общественным деятелем и профессором в Москве. Суслова участвовала в радикальных петербургских кружках 60-х годов и с 1865 г. состояла под надзором полиции «за открытое сочувствие нигилизму и за сношения с неблагонадежными лицами; за участие в интернационале и сношения с эмигрантами ей был воспрещен в 1873 г. въезд в Россию, но в том же году запрещение было отменено. Напечатала: в «Современнике» 1864 г. — «Рассказ в письмах» (№ 8) и «Чудная» (№ 9), в «Вестнике Европы» 1900 г. (№ 6) — «Из недавнего прошлого». Как первая женщина-врач Суслова имела огромное влияние на стремление русских женщин 70-х годов к медицинскому образованию как средству служения народу. В. Н. Фигнер пишет в своих воспоминаниях: «Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получила в Цюрихе диплом доктора... Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее... И золотая нить протянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше — к народу, к родине и человеку». Брат Сусловой, Вас. Пр., был судебным следователем и сам привлекался в середине 60-х годов к следствию за прикосновенность к революционным организациям. Сестра ее Аполлинария (1840—1918), нигилистка

и, по определению А. И. Герцена, очень умная писательница, была под надзором полиции за революционные связи. Достоевский имел с нею в первой половине 60-х годов тяжелый, сильно мучивший его роман. Кончила жизнь в политическом отношении позорно: после первой революции участвовала в погромных организациях.

[130] (стр. 137). Белоголовый, Николай Андреевич (1834—1895) — известный врач, общественный деятель, близкий друг Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и других писателей. Сын сибирского купца, учился у ссыльных декабристов, о которых оставил ценные воспоминания. Познакомился в 1861 г. с А. И. Герценом и стал корреспондировать в «Колокол»; был одним из редакторов радикальной газеты «Общее дело», издававшейся в 1877—1890 гг. в Женеве.

[131] (стр. 138). Свадьба С. В. и В. О. Ковалевских состоялась 15 сентября 1868 г.

[132] (стр. 138). Сеченов, Иван Михайлович (1829—1905) — гениальный русский физиолог. Сеченов появился на кафедре в эпоху развития в русском обществе интереса к естествознанию. Своими чтениями в высшей школе и в публичных собраниях он усилил этот интерес, а содержанием лекций дал мощный толчок развитию в России материалистических идей. Особенно ярко сказалась эта роль Сеченова после напечатания в 1863 г. его труда «Рефлексы головного мозга», в котором изложены выводы всей его предшествующей работы (последнее издание, под ред. Х. С. Коштоянца, М. 1942). Правительство и его реакционные лакеи поняли революционизирующее значение сеченовских идей, преследовали автора и его книги. Из других работ Сеченова интересен основанный на многочисленных исследованиях и опытах «Очерк рабочих движений человека», который является единственным научным руководством в этой области и для нашего времени. Незадолго до смерти, в самом начале XX в., Сеченов стал преподавателем на Пречистенских курсах для рабочих в Москве и писал о своих слушателях: «Сильное впечатление получилось от аудитории, слушавшей с какой-то жадностью... речь своего профессора, подкреплявшуюся на каждом шагу опытом. Еще бо́льшим уважением я проникся к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции, по окончании вечерних работ на фабрике, из-за Бутырской заставы; многие учатся иностранным языкам, некоторые даже английскому» («Автобиографические записки», стр. 193 сл.).

[133] (стр. 138). Доктора — условное название для кандидатов в фиктивные мужья.

[134] (стр. 139). Сестры Корвин-Круковские замышляли устройство фиктивного брака И. М. Сеченова с Анной Васильевной, чему противилась М. А. Бокова-Сеченова вопреки своим «нигилистическим» взглядам (см. примеч. 123-е). Шуточное замечание о магометанстве В. О. Ковалевского — сожаление о невозможности для него, по законам православной церкви, иметь несколько жен; в противном случае он мог бы посредством второго фиктивного брака «освободить» и Анну Васильевну.

[135] (стр. 139). Дальше — приписка В. О. Ковалевского. В ней — о переводе книги для его издательства.

[136] (стр. 139). Фогт, Карл (1817—1895) — зоолог; работал также в области геологии и палеонтологии; в 60-х годах был одним из популярнейших представителей материализма и атеизма. Участвовал в революции 1848 г. Не разобранное при первой публикации этого письма слово «Яун», может быть, означает фамилию немецкого педагога и администратора, реакционера Фридриха Яна (Jahn, 1778—1852). К. Фогт вынужден был уйти из Гиссенского университета (в Гессене) в 1837 г.

[137] (стр. 139). Печатается с подлинника. Лермонтова, Юлия Всеволо-

довна (1846—1919) — дочь директора 1-го Московского кадетского корпуса, двоюродная сестра А. М. Евреиновой, близкая родственница великого поэта М. Ю. Лермонтова, одна из многочисленных дворянских девушек, увлекавшихся во второй половине 60-х годов XIX в. изучением естественных наук. Добившись, при значительном содействии кружка Корвин-Круковских, разрешения родителей на поездку за границу, училась химии, получила в 1874 г. степень доктора, работала некоторое время в Петербурге у знаменитого химика А. М. Бутлерова. Сохранилось письмо Бутлерова от 5 октября 1880 г. к Ю. В. Лермонтовой, которую он убеждает не бросать работу в химической лаборатории Высших женских курсов, так как ее отказ «ставит нас в порядочное затруднение и несомненно компрометирует чувствительно успех дела... Ваш отказ я очень склонен считать способным превратиться в полную и совершенную разлуку с химией навсегда. Неужели оно так и будет?» Так оно и вышло на деле. Лермонтова не сумела отдаться целиком науке, как сделала С. В. Ковалевская.

138 (стр. 140). Печатается с подлинника.

139 (стр. 140). В письме от 3 февраля С. В. Ковалевская внушает Лермонтовой бодрость: «Мне кажется, что мужество и решимость Ваши начинают сдавать... В этом трудном деле Вам может помочь только чрезвычайно сильная воля... Надо действовать неутомимо». С. В. готова приехать в марте в Москву, но это вряд ли поможет делу; она догадывается, как «честят» ее родители Лермонтовой: «для этого мне стоит только вспомнить, что сказал бы мой отец в подобных обстоятельствах». И добавляет об Анне Васильевне: «С сестрой моей положительно еще ничего не устроилось. По всем вероятиям, однако, ее отпустят с нами добровольно, т. е. ей не придется бежать». По поводу желания Лермонтовой перевести какой-то учебник С. В. спрашивает ее, занималась ли она переводами: этой работе «надо учиться так же, как и всякой другой».

140 (стр. 141). Причина студенческой истории в Медико-хирургической академии отнюдь не была ничтожной, как казалось С. В. Ковалевской. История эта связана с общестуденческим движением 1868—1869 гг., представлявшим собою первое организованное выступление русского студенчества после движения 1861 г. Даже официальный историк академии пишет об этом брожении как о весьма серьезном, стараясь, впрочем, затушевать его политическую основу и революционную сущность (Ивановский, стр. 656 сл.). Волнения в Медико-хирургической академии перебросились на другие высшие учебные заведения. А. И. Герцен в письме к сыну от 17 апреля 1869 г. объяснял их значение: «Студенческая история очень важна... Студенты требуют тех прав, которые им были уступлены после смерти Николая... Говорят, лучше пойдут в Сибирь и крепость, чем уступить... Часть их будет исключена, несколько погибнут, но борьба, всякая историческая борьба и вырабатывание идет этим путем» (Соч., т. 21, стр. 367; ср. Б. Козьмин — «С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг.», в сб. «Революционное движение 1860-х годов», М. 1932, стр. 172; см. еще у С. Г. Сватикова в сб. «Наша страна», Пб. 1907, стр. 183 сл.).

141 (стр. 141). Печатается с подлинника. Это первое известие об С. В. и В. О. Ковалевских после их отъезда за границу. 1-13 апреля 1869 г. С. В. Ковалевская писала брату мужа, А. О. Ковалевскому: «Как Вы и предсказывали, Александр Онуфриевич, мы остались в Петербурге дольше, чем думали, да и теперь еще дела Володи издательские так запутаны, что только с грехом пополам ему удастся выехать послезавтра, 3 апреля. Эти последние дни он совсем заметался, и пришлось ему расплачиваться за много старых грехов; он, конечно, совсем повесил голову и целый день только охает. Выезжаем мы послезавтра... Я поеду с сестрою в Гейдельберг, Владимир Онуфриевич останется в Вене. Сестра едет с нами, но

вскоре оставит нас и отправится в Париж». В приписке В. О. Ковалевского — жалоба на плохой оборот издательских дел: «Дела очень дурны, т. е. долгов около 20 тыс., и хотя изданий есть тысяч на сто, но это так проблематично, что страх, а долги весьма реальны».

142 (стр. 142). В. О. Ковалевский писал брату 8-20 июня о филистерстве и фарисействе немцев. Сообщая А. О. Ковалевскому подробности переговоров о допущении Софьи Васильевны в университет, он пишет, что в этом много помогло научное имя Александра Онуфриевича, работы которого высоко ценились в Западной Европе. Там же он пишет про слухи об С. В. Ковалевской и о своих научных занятиях: «Про Софу в здешних газетах пишут разный вздор, и все здешние профессора, а особенно доценты, сплетничают отчаянно; сплетни все сходятся в один источник — к С. Ламанскому, который и приносит время от времени целый ворох их. Занятия мои пошли недурно, интерес уже является, затем вырастет еще больше; жаль только, что петербургские дела меня смущают, все душа не на месте». Про «петербургские дела» в том же письме: «Дела мои оставлены на попечении Евдокимова, и нельзя сказать чтобы они были в блестящем положении,— плохи; я решил ничего не брать на прожитье, может перебьюсь как-нибудь небольшими подачками из деревни и на будущий год от тебя стяну хоть 250 р., но, может, обойдусь и без этого».

143 (стр. 142). Знаменитый русский ученый К. А. Тимирязев рассказывает, как он «сидел на одной университетской скамье с русской женщиной, вскоре заставившей о себе говорить всю Европу, С. В. Ковалевской. Это было не у себя дома, а в далеком, чужом Гейдельберге,— двери русских университетов закрылись перед русской женщиной. Припоминаются, хотя в общем корректные, но несколько глупо-недоумевающие физиономии немецких буршей, так резко отличавшиеся от энтузиазма и уважения, с которыми мы когда-то встречали своих первых университетских товарок» (Соч., т. IX, стр. 29 сл.).

144 (стр. 143). К. А. Тимирязев пишет о том же времени: «Химическая лаборатория вмещала не более 60 человек, но зато в ней целый день, за вычетом двух часов на обед, безвыходно находился сам Бунзен, переходивший от практиканта к практиканту или занимавшийся с преуспевающими в двух крошечных комнатках, посвященных его специальности — газовому и спектральному анализу» (т. IX, стр. 120; там же — обстоятельная характеристика Бунзена).

145 (стр. 143). Печатается с подлинника.

Александр Онуфриевич Ковалевский (1840—1901) — старший брат В. О. Ковалевского. В 1859 году поступил на естественное отделение Петербургского университета. С 1861 г. работал самостоятельно в области зоологии беспозвоночных. В 1864—1866 гг. опубликовал несколько классических работ, положивших начало научной сравнительной эмбриологии. Дарвин с интересом следил за его работами, писал, что исследования А. О. Ковалевского дают возможность установить возникновение мира позвоночных, включая происхождение человека. С 1868 г. А. О. Ковалевский был последовательно профессором в Казанском, Киевском, Одесском, Петербургском университетах. С 1890 г.— действительный член Академии Наук. Продолжая исследования, создал много работ крупного научного значения. Был избран почетным членом всех отечественных и многих зарубежных ученых обществ, университетов и академий.

146 (стр. 145). Дальше — приписка В. О. Ковалевского.

147 (стр. 146). Речь идет о переводе книги Ч. Ляйэлля «Руководство к геологии...», изданной В. О. Ковалевским в двух томах (т. I — в 1867 г., т. II — в 1878 г.).

148 (стр. 146). Печатается с подлинника.

[149] (стр. 147). Брат Марии Александровны — Владимир Александрович Обручев (1836—1912), один из близких друзей Н. Г. Чернышевского, участник революционных организаций 60-х годов; писал в «Современнике»; арестован в 1861 г. за распространение прокламаций «Великорусса», осужден в каторгу на 5 лет и на вечное поселение в Сибири. Обряд гражданской казни был совершен над ним в конце мая 1862 г., в разгар петербургских пожаров, которые провокационными слухами из правительственных кругов приписывались студентам и революционерам. Поэтому собравшаяся на месте обряда толпа, подстрекаемая агентами полиции, требовала повешения Обручева и даже пыталась совершить над ним самосуд. Твердым поведением во время следствия и суда В. А. спас от тяжелого наказания другого участника тогдашнего революционного движения своего двоюродного брата, талантливого профессора военной академии, офицера, а впоследствии начальника генерального штаба Н. Н. Обручева (1830—1904). В. А. Обручев был в каторжных работах на Александровском винокуренном и Петровском железоделательном заводах, потом на поселении в Сибири. В 1872 г. выехал в Оренбургскую губернию, через год в Уфу, еще через год получил разрешение жить всюду в России, кроме столиц. В 1876 г. В. А. Обручеву вернули чин поручика, его приняли на государственную службу — в морское ведомство. Тогда он снова стал, под псевдонимом, писать в «Отечественных записках» и в «Вестнике Европы».

[150] (стр. 147). Печатается по тексту книги Кампфмейера о Фольмаре (Мюнхен, 1930). В этой книге письма С. В. приведены в извлечениях с подлинников, находившихся тогда с другими бумагами Фольмара в берлинском архиве германской соц.-дем. партии. Для настоящего издания пришлось перевести опубликованные Кампфмейером отрывки, так как подлинники писем Ковалевской к Фольмару недоступны советскому исследователю. Фон-Фольмар, Георг (1850—1922) — лидер правого крыла германской социал-демократии. К концу 90-х годов выступал в речах и брошюрах с ревизией учения Маркса — Энгельса, задолго до Эд. Бернштейна, и подвергся резкой критике со стороны вождей революционного пролетарского движения и теоретиков научного марксизма. В. И. Ленин много раз выставлял Фольмара образцом вреднейшего оппортуниста (Соч., тт. IV—VI, VIII, XI, XII, XV—XVI). В пору, к которой относятся письма Ковалевской к Фольмару, он пользовался еще репутацией стойкого революционного деятеля. После смерти С. В. Ковалевской Фольмар напечатал о ней статью в штутгардтском журнале «Die Neue Zeit» (№ 26 за 1891 г.).

[151] (стр. 148). Дорогой друг — польская революционерка М. В. Мендельсон-Залесская (см. примеч. 170-е).

[152] (стр. 148). См. примеч. 150-е.

[153] (стр. 148). Имеется в виду Г. Миттаг-Леффлер (1846—1927) — шведский математик, ученик Вейерштрасса; с 1877 г. — профессор в Гельсингфорсском университете, куда старался еще в 1880 г. привлечь Ковалевскую в качестве доцента. Через год перешел во вновь учрежденный Стокгольмский университет. Приложил много усилий к привлечению туда Софьи Васильевны преподавателем. Это удалось ему осенью 1883 г.

Начал эти хлопоты Миттаг-Леффлер еще в 1881 г. В июле этого года Ковалевская, между прочим, писала ему: «Мне хотелось бы получить возможность применить свои познания к преподаванию в высшем учебном заведении только для того, чтобы помощью этого открыть женщинам доступ в университет, разрешавшийся им до сих пор лишь в виде исключения, как особая милость, которая может быть во всякое время отнята, что́ и случилось в большей части германских университетов». Софья

Васильевна добавляет: «Теперь, быть может, было бы неблагоразумно и несвоевременно начинать хлопоты о моем назначении: лучше подождать до окончания начатых мною работ. Если мне удастся выполнить их так хорошо, как я надеюсь, то это может служить значительным подспорьем для достижения намеченной мною цели».

В ноябре 1883 г. Ковалевская приехала в Стокгольм. Вся семья Леффлеров всегда окружала Ковалевскую любовью, облегчала ей первые шаги в чужой для нее стране, проявляла к ней самое дружеское внимание при жизни и сохраняла трогательную память после смерти. Миттаг-Леффлер собрал при Стокгольмской академии все доступные ему рукописи С. В. Ковалевской и устроил там своего рода музей ее памяти. В 1923 г. Леффлер напечатал обширную научно-биографическую статью «Вейерштрасс и Софья Ковалевская», где привел много неизданных материалов. С 1896 г. Миттаг-Леффлер — член-корреспондент нашей Академии Наук. С 1926 г. — почетный член Академии Наук СССР. Находился в тесном научном общении с русскими математиками. Его письма к академику А. А. Маркову — в Архиве Академии Наук.

[154] (стр. 149). Печатается по тексту журнала «Минувшие годы» (1908 г., № 3), где опубликовано без указания источника. Дата установлена по содержанию и по другим письмам. Лавров, Петр Лаврович (1823—1900) — сын генерала, полковник, профессор математики в военных школах. В 1866 г., в связи с жестокой реакцией после выстрела Каракозова, был арестован, сослан в Вологодскую губернию; в 1870 г. бежал за границу; жил эмигрантом, преимущественно в Париже; сблизился с передовыми кругами международной демократии; участвовал в I Интернационале; был в дружеских отношениях с Марксом и Энгельсом. С. В. Ковалевская познакомилась с Лавровым в начале 80-х годов в Париже. После смерти Ковалевской Лавров сделал в Париже доклад, посвященный ее памяти, в котором говорится главным образом о великой силе знания и о стремлении русской женщины к образованию.

[155] (стр. 149). В письме к М. В. Мендельсон от 26 декабря 1883 г. Ковалевская сообщала о том же: «Итак, я в Стокгольме. Мои лекции по математике в университете начнутся через какие-нибудь две недели, и я думаю со страхом о той минуте, когда в первый раз предстану перед моими слушателями... У меня нашлось много друзей, но и много врагов: последние сосредоточены в Упсальском университете. Вы знаете, вероятно, что университет в Стокгольме открыт недавно, в то время как университет в Упсале (маленький городок на расстоянии одного часа езды от Стокгольма) существует несколько веков. В настоящее время эти два университета представляют собой два противоположных течения: Упсала является консервативным центром ортодоксальной науки и старых традиций; к Стокгольму же стремится вся молодежь, люди свободомыслящие и все, кто только «rührig», движется, живой в Швеции... Эти два университета очень соперничают между собой. Слушатели, большею частью, на стороне Стокгольма и наполняют его массами, несмотря на то, что Упсала обеспечивает им бо́льшие материальные выгоды. Этот факт служит большим поводом к озлоблению наших милых соседей по отношению к нам. Когда в Стокгольме было официально объявлено о моих лекциях, упсальские студенты-математики немедленно вывесили эти объявления в своем ферейне, а это вызвало целый взрыв негодования среди упсальских профессоров. Одно заседание, продолжавшееся весь вечер, было посвящено очернению меня; они отрицали у меня всякие научные заслуги, намекали на самые чудовищные и, вместе с тем, смешные причины моего приезда в Стокгольм и т. п. Одним словом, я не предполагала столько огня у этих честных миролюбивых шведов. К несчастью, среди профессоров в Упсале

имеются личности, пользующиеся большим влиянием в Швеции. Король, покровительствовавший сначала Стокгольмскому университету, убедился теперь, что это учебное заведение может стать центром вольнодумства и радикальных стремлений, и поэтому отвернулся от него». Ср. с «Автобиографическим рассказом» (стр. 145) и записью в «Дневнике» за январь-февраль (1885 г., стр. 157).

156 (стр. 150). 19 января 1884 г. Ковалевская сообщила М. В. Мендельсон: «Я написала недавно Лаврову, прося его написать, какие новые издания «Народной воли» вышли в свет и где я могу их найти, но не получила от него ответа. Если вы увидите его, дорогая, будьте добры спросить его, получил ли он мое письмо и может ли сообщить мне то, о чем я просила».

157 (стр. 150). Александр III разрешил вернуть Н. Г. Чернышевского из Сибири по докладу министра внутренних дел Д. А. Толстого 27 мая 1883 г. Из Вилюйска Н. Г. выехал в конце августа, прибыл на место новой ссылки — в Астрахань — в конце октября.

158 (стр. 150). Печатается по тексту книги А.-Ш. Леффлер о Ковалевской; написано по-шведски. Сестра профессора Г. Миттаг-Леффлера, Анна-Шарлотта, по первому мужу Эдгрен, по второму — герцогиня Кайянелло (1849—1892) — шведская писательница; написала после смерти С. В. Ковалевской книгу о ней, переведенную на многие европейские языки, в том числе и на русский.

159 (стр. 151). Некоторое время спустя Ковалевская писала одному знакомому: «Развлечениями я, собственно, пользовалась очень мало, за исключением большого придворного бала, где мне нужно было присутствовать; после него мне пришлось очень много читать о себе во всех газетах... В катании на коньках я сделала успехи... Вы бы наверное смеялись, если бы видели меня за письмом; дело в том, что я сижу в белом пеньюаре, с цветами, с золотой бабочкой в волосах — через час я должна ехать на большой бал к норвежскому министру, там будет и король, и все принцы... За последнее время мы, т. е. профессор Леффлер, госпожа Эдгрен и я положительно охвачены страстью к верховой езде; почти ежедневно мы предпринимаем большие прогулки верхом в окрестности Стокгольма».

160 (стр. 151). Печатается в переводе с немецкого по тексту воспоминаний С. Аделунг о Ковалевской.

161 (стр. 151). А.-Ш. Леффлер писала об этом в начале февраля 1887 г. общему другу ее и С. В. Ковалевской: «Соне и мне пришла в голову положительно гениальная мысль. Мы собираемся написать большую драму, разбивающуюся на два представления и состоящую из десяти актов. То-есть идея, собственно, ее,— я же должна обработать ее, сочинить пьесу и написать реплики... Мы вчера впервые заговорили об этом... Мое сердце радуется при одном виде ее блестящих, сияющих радостью глаз, обращенных на меня... Идея принадлежит Соне; я, конечно, убеждена, что ей гораздо скорее, чем мне, могут приходить в голову гениальные идеи... Кроме того, она доставила мне массу психологических данных для обработки характеров... Содержание, апофеоз любви и, наконец, картина будущего идеального общества, где все живут для всех, а двое любящих людей друг для друга,— на всем этом лежал отпечаток ее сокровенных мыслей и чувств... Софья все это время не могла никак думать о своей большой математической работе, несмотря на то, что срок для подачи работ на премию был уже назначен и ей оставалось мало времени...» По словам Леффлер, в героине драмы — Алисе — Ковалевская «хотела изобразить самое себя, и некоторые реплики этой драмы до такой степени ярко характеризуют ее, как будто были цитированы из ее

собственных уст». Драма ставилась несколько раз в России — в Москве, у Корша, в 1894 г. и позже. У Корша пьеса Ковалевской ставилась, как вспоминает Т. Л. Щепкина-Куперник, «с огромным успехом; пьеса эта, затронувшая впервые на русской сцене рабочий вопрос, произвела сильное впечатление». В 1905 г. пьеса ставилась в Саратове и также с успехом.

162 (стр. 152). Печатается по тексту книги Леффлер о Ковалевской (стр 257; см. примеч. 158-е).

163 (стр. 152). А.-Ш. Леффлер передает, что Ковалевская незадолго до того познакомилась с знаменитым норвежским исследователем полярных стран и ученым-зоологом Фритьофом Нансеном (1861—1930) и сильно заинтересовалась им. «Его личность и смелые планы путешествий произвели на нее сильное впечатление. Они... произвели друг на друга такое сильное впечатление, что затем говорили оба, что если бы между ними ничего не стояло, эта сильная симпатия, при благоприятных условиях для развития, могла бы оказать решающее влияние на всю их последующую жизнь». У Нансена была невеста. Софья Васильевна встретила уже тогда М. М. Ковалевского, человека, который, по ее словам, в передаче Леффлер, был самым даровитым из всех людей, когда-либо встреченных ею в жизни. Про Нансена Софья Васильевна в другой раз писала Леффлер, что «на великом жизненном пиру» норвежский исследователь «получил именно ту порцию, которую он сам желал».

164 (стр. 152). Свой отважный и чрезвычайно плодотворный в научном отношении лыжный переход через ледяное плато Гренландии, от восточного берега ее до западного, Нансен начал в августе 1888 г. и вернулся в Норвегию в июне 1889 г.

165 (стр. 152). По тексту книги Леффлер (стр. 258 сл).

166 (стр. 152). Это — ироническое замечание в ответ на сообщение Леффлер, считавшей Ковалевскую влюбленной в Нансена, что последний уже помолвлен с Юлией Кьелберг.

167 (стр. 153). М.— известный русский ученый, историк права, общественный деятель М. М. Ковалевский (1851—1916). Родился в Харькове. По отцу — участнику Отечественной войны — принадлежал к семье, давшей России многих ученых, общественных и государственных деятелей. Мать происходила из старинной украинской семьи. Учился в Харькове. Окончил университет в 1873 г., в 1877 г.— магистр, в 1880 г.— доктор, с 1877 — профессор государственного права и сравнительной истории права в Московском университете, с 1914 г.— член Академии Наук; один из самых даровитых русских профессоров-ораторов. Убежденный конституционалист, К. в эпоху мрачного царизма на своих лекциях говорил студентам: «Я должен вам читать о государственном праве, но так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я вам буду читать?» Министр народного просвещения И. Д. Делянов поручил своим подчиненным по Москве проследить за К., и они написали донос, которым Делянов воспользовался, чтобы 6 июня 1887 г. уволить Ковалевского из университета. К. уехал за границу, читал лекции в университетах Англии, Франции, Швеции, на Балканах, устроил в Париже Русскую вольную школу общественных наук, где читали выдающиеся русские ученые и эмигранты (в их числе Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). Благодаря своей общительности и блестящему остроумию К. был в дружеских отношениях со многими выдающимися общественными деятелями, учеными и писателями всего мира, в их числе с Карлом Марксом. К. А. Тимирязев пишет, что «нельзя забыть тот свет, который Ковалевский всегда излучал вокруг себя, забыть упорный бесконечный труд целой жизни этого умного, талантливого, безусловно честного и доброго человека, знать которого — значило его любить».

Опальный, изгнанный из царской России, Максим Ковалевский был на Западе одним из самых популярных людей. В разгар его славы с ним встретилась в Стокгольме Софья Васильевна и страстно влюбилась в него. Со своей стороны он вскоре стал ее горячим поклонником и даже предлагал ей сделаться его женою. Но отношения С. В. и М. М. были очень осложнены разными обстоятельствами. Это отражено в «Дневниках» Софьи Васильевны, в ее письмах к М. В. Мендельсон и в «Отрывке из романа, происходящего на Ривьере», напечатанном в ее Сочинениях. На лето 1891 г. была назначена свадьба Ковалевских, но Софья Васильевна не дожила до этого срока. В конце декабря 1890 г. она приехала к М. М. на виллу Болье, возле Ниццы; новый 1891 год они встретили в Генуе. Возвращаясь в Стокгольм, С. В. дорогой простудилась, заболела воспалением легких и умерла 29 января (10 февраля).

М. М. Ковалевский много раз выступал с речами о Софье Васильевне и напечатал несколько статей о ней. Сохранилось два письма М. М. Ковалевского в связи с его работой по редактированию собрания литературных произведений Софьи Васильевны. Выдвигая в одном из этих писем проект присоединения к этому «собранию» ряда статей о Ковалевской, в том числе и его собственных воспоминаний о ней, М. М. заявлял: «Признаюсь, меня очень затрудняет писать о С. В. В наших отношениях было много такого, что трудно понять людям посторонним. Говорить и недоговаривать — задача не легкая».

Племянник М. М. Ковалевского, его душеприказчик и наследник, Е. П. Ковалевский, писал в 1916 г.: «Через шесть месяцев после увольнения М. М. из Московского университета его приглашают по инициативе Софьи Васильевны Ковалевской прочесть в Стокгольме ряд лекций, посвященных происхождению семьи и собственности. Пребывание в Стокгольме закрепило и углубило его отношения к С. В., вначале только дружеские, а позднее чуть не приведшие к браку. Этот союз не состоялся и вряд ли он даже мог быть особенно счастлив: слишком самобытны и крупны были обе личности. Однако теплота отношения М. М. к этой замечательной женщине сохранилась и пережила ее на 25 лет. Незадолго до своей кончины М. М. произнес на собрании, посвященном памяти С. В. Ковалевской, прочувствованную речь. Письма ее к М. М., многочисленные и интересные, были им сохранены до конца жизни и переданы мне, как душеприказчику... Переписка интимного характера, конечно, пока не подлежит опубликованию».

Упоминаемые в приведенном отрывке лекции М. М. Ковалевского составили его известное исследование на тему о происхождении семьи и собственности. Этот труд высоко ценил Фр. Энгельс. Он издавался несколько раз на русском и других языках. Новейшее издание: «М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. Перевод с французского С. Н. Моравского, под редакцией, с предисловием и примечаниями проф. М. О. Косвена. М. 1939. 186 стр.».

В бумагах М. М. Ковалевского (Архив Академии Наук) сохранилось письмо к нему С. В. Ковалевской от середины мая 1889 г. Здесь — сообщение о его стокгольмских лекциях: «Вчера вечером пришла, наконец, корректура первого листа ваших лекций. Я ее просмотрела и отошлю к Иогану Леффлеру, который, сравнив ее с той, которую получит от вас, отдаст ее в печать. Леффлер пишет, что печатание не окончится раньше, как к осени».

Речь М. М. Ковалевского о Софье Васильевне (29 января 1916 г., в Петербурге) напечатана им в статье под названием «Действенный феминизм». Здесь он писал: «Мое знакомство с С. В. Ковалевской началось в Стокгольме. Перед этим я только однажды, и всего на несколько

минут, был в ее обществе. Она в то время жила в Париже, в «рю Вожирар», и много работала над решением математической задачи, решением, которое окончательно упрочило ее известность в той специальной области, в которой она чувствовала себя дома. Софья Васильевна произвела на меня впечатление женщины очень нервной (нервной до истеричности). Это было вскоре после воцарения императора Александра III...

Прошел ряд лет между моей мимолетной встречей с С. В. и более продолжительным знакомством с нею в Стокгольме. В 1887 г. я был отставлен от занимаемой мною кафедры государственного права европейских держав. Уехав в деревню, я в январе получил приглашение от комитета, в состав которого входила и С. В., прибыть в Стокгольм для открытия при университете лекций по общественным наукам... Предполагая, что С. В. была в числе лиц, принявших участие в моем выборе, я посетил ее в день моего приезда и в тот же вечер приглашен был к ней для чествования какого-то, если память мне не изменяет, норвежского математика. Собралось человек десять мужчин и женщин, в числе их профессор астрономии Гюльден и профессор математики Миттаг-Леффлер. Из молодых в этот вечер или в ближайшие дни я встретился у С. В. с хорошо известным теперь главою самой многолюдной социалистической партии в шведской палате Брантингом, на которого так энергично нападают в настоящее время немцы. По образованию он был также математик... У С. В. я встретился с весьма известной писательницей Эллен Кэй, только что начинавшей тогда свою карьеру.

Двух этих посещений достаточно было, чтобы убедиться, какую роль играет С. В. в профессорских и литературных кругах шведской столицы. Ее славословили, ею восхищались и гордились. Ее самолюбие находило ежедневное удовлетворение в похвалах, расточаемых на ее счет и нередко в ее присутствии. Но достаточно было нескольких встреч, чтобы убедиться, как одиноко чувствовала себя эта женщина на чужбине, как все русское было близко ее сердцу, и как она чувствовала себя отрезанной если не от всего мира, то, по крайней мере, от России своим, только наполовину добровольным, переездом в Стокгольм».

Рассказывая о лекциях в Стокгольме — своих и других приглашенных ученых, М. М. Ковалевский писал: «С. В. не раз показывалась на наших лекциях на правах члена комитета. Она не раз также приглашала лекторов к себе и заботилась о том, чтобы они приняты были в ученую и литературную среду Стокгольма. Ее влияние было настолько значительно, что перед нами всюду открывались двери и нам немудрено было перезнакомиться с руководителями столько же умственной, сколько и политической жизни Швеции. В числе людей, с которыми мне удалось сблизиться таким образом, оказался и известный всему миру Норденшильд, открывший северный путь из Европы в Охотское море, выдающиеся представители скандинавской археологии Гильдебрандт и Монтелиус, и местные знаменитости по интерпретации библейских текстов, и естествоиспытатели, и политические деятели, и литераторы. Некоторые из них образовали подобие частной академии, сходившейся попеременно у одного из них. В доме Монтелиуса мне пришлось не только самому делать сообщение по археологии Кавказа, но и присутствовать при том, какое на шведском языке сделано было моей знаменитой однофамилицей. Успех ее был весьма значителен. Ее хвалили не только за оригинальность высказанных ею взглядов, но и за успешную передачу их на шведском языке. С этого времени С. В. решила перейти и в преподавании на шведский язык.

Во второй мой приезд мне пришлось бывать в доме С. В. несравненно чаще прежнего. Летом я встретился с нею в Лондоне, где я про-

живал в это время вместе с проф. Гамбаровым. Мы устраивали не раз загородные прогулки, проводили свободные от занятий часы в посещении музеев и картинных галлерей и встретились уже в Стокгольме настоящими друзьями.

Чем больше я знакомился с знаменитым профессором математики, тем больше я убеждался в том, что это была исключительная по талантливой разносторонности женщина. Не было такого вопроса в области обществоведения и истории, которым бы она временно не могла увлечься. Мои лекции посвящены были происхождению древнейших семейных и имущественных отношений. С. В. заинтересовалась этими вопросами и охотно заводила беседу о них не только с лектором, но и с посетителями его курса. Я однажды узнал от нее, что лекцией об анимизме моя женская аудитория оказалась недовольной.

В анимизме она желала видеть раннее проявление спиритизма и связанной с ним теософии, которым тогда увлекался Стокгольм и особенно его женская половина, по примеру Лондона и Петрограда. С. В. представляла редкий в стокгольмском обществе пример ума, совершенно свободного от всяких теологических или метафизических воздействий. Занятия естественными науками и математикой дали положительное направление ее мышлению.

Мне не пришлось в моей жизни встретиться с человеком с большей умственной трезвостью, умевшим критически относиться не только ко всякой попытке напустить туману или не довести своей мысли до конца, но и к собственному поведению, раз оно вызываемо было аффектом... Это была натура жизнерадостная, и жизнерадостность вызывалась в ней способностью интересоваться разнообразнейшими сторонами действительности, как русской, так и заграничной. Судьбы четвертого сословия [трудящихся масс] были ей особенно дороги. Подобно всем русским эпохи, следовавшей за реформами Александра II, она горячо принимала к сердцу интересы народных масс и той демократической интеллигенции, которая в последние годы царствования Александра II и в правление Александра III с понятной нервностью относилась к внезапной приостановке либерального движения, в котором само правительство в годы, следовавшие за крымской войной, не мало участвовало.

Не принадлежа ни к какой определенной политической партии, С. В. всецело являлась сторонницей и широкой самодеятельности общества, и социального законодательства, и всякого рода просветительных начинаний на пользу народных масс».

Обрисовав широту общественно-политических и умственных интересов Софьи Васильевны, М. М. Ковалевский говорит о последнем свидании с нею в 1890/91 г. в Болье, близ Ниццы, где была его вилла: «Приехав проводить рождественские каникулы на Ривьеру в 1890 г., С. В. попробовала продолжить свой отпуск. Но М.-Леффлер написал ей, что это невозможно, так как по причине незамещения какой-то кафедры ей приходилось читать и этот добавочный предмет. С тяжелым чувством уехала С. В. на север. Я проводил ее до Канн.

В Париже она осталась на несколько дней, чтобы повидаться с тамошними математиками. Во время переезда из Дании в Швецию она простудилась и, по приезде в Стокгольм, слегла, жалуясь на колику. Ее стали лечить от воспаления почек, не заметив, что колика вызывается гнойным плевритом. Когда болезнь ее усилилась, М.-Леффлер уведомил меня о ней телеграммой. Я в тот же день выехал, но уже в Киле получил известие о ее кончине. Я тем не менее продолжал свой путь и присутствовал на ее похоронах. По просьбе ее друзей, я от имени ее соотечественников сказал на французском языке несколько слов над ее могилой

и изобразил ее представительницей той молодой России, которая стремится к свету, свободе и социальной справедливости...

Из всех разговоров с С. В. я все более и более убеждался и в силе ее ума, и в большой научной фантазии, и в способности быстро ориентироваться в совершенно чуждой ей области, и в разносторонности ее чтений, более направленных, впрочем, в область точного знания, нежели в область истории и общественных наук, и, наконец, в редкой памяти, которая позволяла ей быстро схватывать то, что многим дается только путем продолжительного изучения. Мне не приходилось часто встречать на своем веку людей, которые умели бы так ясно различать главное от придаточного, так метко направлять удары на самые стропила возводимого противником здания, так проникать в самую глубь вещей и доказывать необоснованность начальных посылок. При этом поражало у нее, как и у многих математиков, не равнодушие, а, наоборот, интерес к общественным вопросам, как и ко всей культурной истории, и какое-то полуироническое отношение к тому, что у людей, занимающихся этими вопросами, нехватает смелости додуматься до конечных решений. Благоразумное ignoramus * в ее глазах было последствием одной умственной скудости, если не отсутствия искренности. Споры с нею по вопросам, в которых трудно было предполагать с ее стороны достаточную подготовку, тем не менее были весьма полезны, так как указывали на возможность посмотреть на дело с совершенно неожиданных сторон и открыть в тех или других теоретических построениях, казавшихся вполне защищенными, значительные бреши. Чем только ни интересовалась С. В.! И сравнительной историей культуры, и ростом освободительных идей, и тем, что можно назвать теоретическим обществоведением и теоретической политикой».

Коснувшись литературно-художественных произведений С. В. Ковалевской и ее «Воспоминаний детства», М. М. Ковалевский писал: «Мне кажется, что С. В., если бы ей суждено было прожить и десятки лет дольше, не бросила бы математики и занялась бы беллетристикой только для отдыха. И подтверждение этого я вижу в том, что она очень часто и в каникулярное время на целые недели уходила в область решения того или иного сложного математического вопроса, сидя за ним по ночам, отказываясь от прогулок и ища по возможности одиночества.

Затем наступала необходимая реакция, ей нужно было легкое чтение или приятельский разговор, посещение театров, концертов и даже тех народных гульбищ, какими богата праздная Ницца, особенно в период карнавалов. Ученый математик, премированный в удвоенном размере французской Академией наук, непрочь был пойти с приятелями и «на бой цветов», и на так называемый «великий редут», т. е. глубоко за ночь затянувшийся костюмированный бал. Шутя, С. В. говорила, что в числе ее отдаленных предков была какая-то цыганка, дух которой воскресал в ней в эти минуты.

Богатая и разносторонняя природа дана была ей в удел, и проживи она дольше — оставленное ею в различных областях человеческого мышления и художественного творчества поставило бы ее в ряд с самыми выдающимися людьми второй половины прошлого столетия».

В газетном изложении речи М. М. Ковалевского от 29 января имеются некоторые штрихи, дополняющие характеристику С. В. Ковалевской в его статье: «Впервые М. М. Ковалевский познакомился с С. В. в Стокгольме. В ее маленьком салоне бывало избранное ученое общество. Как женщина многогранная и, по ходячему представлению о ней, жизнерадостная, С. В. мечтала о рабочем законодательстве и о политической сво-

* Мы не знаем (лат.)

боде в России. Она сердцем болела за наступавшую в то время в России реакцию. Это был в полном смысле трезвый ум, воспитанный не только на математике, но и на естественных науках, живший высшими научными интересами всей Европы. Но и это не мешало тому, что ее все время тянуло в Россию».

В речи на могиле Софьи Васильевны М. М. Ковалевский, между прочим, сказал: «Софья Васильевна! Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру, вы всегда были и будете славой вашей родины. Недаром оплакивает вас вся ученая и литературная Россия. Со всех концов обширной империи, из Гельсингфорса и Тифлиса, из Харькова и Саратова, присылают венки на вашу могилу. Вам не суждено было работать в родной стране, и Швеция приняла вас... Но, работая по необходимости вдали от родины, вы сохранили свою национальность, вы оставались верной и преданной союзницей юной России, России мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее. От ее имени прощаюсь с вами в последний раз».

После революции 1905 г. Ковалевский вернулся в Россию, примкнул к самой умеренной прогрессивной группе и участвовал в парламентской жизни тогдашней России — в Государственной думе (1906 г.) и Государственном совете (с 1907 г.). В последнем роль К. имела в тогдашних условиях особенно крупное значение. В 1906—1907 гг. К. издавал газету «Страна», в 1909 и сл. гг.— журнал «Запросы жизни»; с 1909 г., до своей смерти, издавал «Вестник Европы».

168 (стр. 153). В конце мая 1888 г. Софья Васильевна встретилась с М. М. Ковалевским в Лондоне, откуда они отправились в путешествие по Германии.

169 (стр. 153). В 1888 г. праздновалось 800-летие Болонского университета. Юбилей привлек внимание всего ученого мира.

170 (стр. 154). Печатается в переводе с польского, помещенном в журнале «Современный мир» (№ 2 за 1912 г.). Опубликовано в числе многих других писем (всего 21) Ковалевской к той же адресатке в изданных на польском языке «Воспоминаниях» М. В. Мендельсон о Софье Васильевне. Мария Викентьевна Мендельсон (1850—1909) происходила из состоятельной, старинной, польской дворянской семьи Залесских. С юных лет вступила в революционную организацию, в которой продолжала работать и после выхода замуж за богатого помещика Янковского. Арестованная в 1881 г. в Варшаве, бежала за границу, где сидела в прусской тюрьме. Принимала участие в деятельности революционной эмиграции; была одной из руководительниц польского революционного движения. Жила и в Париже, где познакомилась с Ковалевской, с которой навсегда сохранила близкие, дружеские отношения. Блестящая красавица, по отзывам знавших ее, обладавшая большими денежными средствами, которые она отдавала на партийные нужды, М. В. Янковская была одной из виднейших представительниц революционной демократии. После смерти Янковского вышла замуж за Стан. Мендельсона (о нем — ниже). Много раз приезжала в Россию по революционным делам с чужими паспортами, рискуя попасть в руки царских жандармов. Биограф Ковалевской и Мендельсон, шведская писательница Эллен Кей говорит, что М. В. «очаровывала всех своим необыкновенным умом, тактом... простотой и сердечностью. Софья Ковалевская высоко ценила ее нравственный облик». М. В. Мендельсон переводила пьесы А. Н. Островского на французский язык. О ней и ее муже — в переписке Маркса — Энгельса, Соч., т. XXVIII, по указателю.

171 (стр. 155). Роман С. В. Ковалевской «Нигилистка» (см. примеч. 89-е) был впервые издан на русском языке в Женеве в 1892 г. (112 стр.,

ц. 2 фр. Вольная русская типография), с предисловием М. М. Ковалевского, но без его подписи. В таком же виде два раза переиздан М. К. Элпидиным (128 стр., Каруж-Женева, 1895 и 1899 гг.). В России выпущен П. В. Кохманским с разрешения дочери С. В. Ковалевской, Софьи Владимировны, в 1906 г. (Москва, 127 стр., ц. 60 коп.) с пометкой на обложке: «Литературный гонорар пожертвован наследниками автора в пользу амнистированных политических заключенных». Последнее русское издание — в Харькове («Пролетарий», 1928 г., 157 стр., ц. 75 коп.), с предисловием М. М. Клевенского. Были издания на шведском, французском, немецком и чешском языках. Русскому изданию 1906 г. посвящена в газете «Страна» (1906 г., 3 сент., № 151), издававшейся М. М. Ковалевским, статья академика Н. А. Котляревского, который отмечал автобиографичность романа и литературные достоинства его. В предисловии к изданию 1892 г. М. М. Ковалевский писал: «В бумагах Софьи Ковалевской нашлось две разновременных редакции печатаемого романа. Ни та, ни другая не отличаются полнотой и законченностью. Некоторые главы написаны по-шведски. Они прочитаны были автором в литературном обществе в Стокгольме. Имея в виду цензурные стеснения, Софья Васильевна решилась издать свой роман на одном из иностранных языков и вступила с этой целью в переговоры с французскими и английскими издателями. Предназначая его для иностранной публики, она сочла нужным внести в свое изложение некоторые подробности, излишние для русского читателя, и на двух-трех страницах упомянула о фактах, еще слишком недавних и чересчур памятных. При содействии известной шведской писательницы Анны Шарлотты Леффлер, герцогини Гайяелло, друзьям покойной удалось установить один общий текст из двух оставленных редакций... Роман представляет несомненный интерес как сам по себе, так и по тому свету, какой он бросает на нравственный облик писательницы. Ушедши в науку, Софья Васильевна не потеряла связи с русской действительностью. Не состоя сама в рядах какой-либо политической партии, она тем не менее не относилась безучастно к самоотверженному служению общественным задачам». Дальше говорится о художественном значении романа Ковалевской.

В статье «Действенный феминизм» (см. примеч. 167-е) М. М. Ковалевский писал о творческой истории «Нигилистки»: «Встреча в Париже с оторванными от России великосветскими девушками, из которых одна увлеклась философией, а другая готова была пожертвовать жизнью, чтобы улучшить судьбу политического ссыльного, навела ее на мысль написать рассказ «Нигилистка». Это намерение не было доведено до конца. С. В. пробовала, имея в виду условия русской цензуры, написать свой рассказ по-французски. После ее кончины оказались главы, написанные на обоих языках, с пропусками, не особенно, впрочем, значительными. Я принужден был восполнить их немногими вставками, перевести целые главы с французского языка на русский; таким образом получился цельный рассказ, изданный мною за границей».

До Великой Октябрьской революции роман «Нигилистка» был запрещен не только к переизданию в России, но и к распространению даже в переводах на другие языки. В 1892 г. была сделана попытка привезти в Россию некоторое количество экземпляров романа С. В. Ковалевской «Вера Воронцова», изданного на шведском языке в Стокгольме. Чиновник комитета иностранной цензуры, рассмотрев книгу, изложил в докладе ее содержание, сходное по теме и по имени главного героя с романом «Нигилистка». Комитет положил резолюцию: «Запретить» (Рапорты по комитету цензуры иностранной за 1892 г., заседание 48-е от 2 декабря 1892 г., стр. 799 сл.).

Спустя четыре года комитет рассматривал вопрос о допущении в Россию романа Ковалевской «Нигилистка» на немецком языке. Цензор граф А. Муравьев представил доклад, в котором изложил содержание романа. В заключительных строках он писал: «Роман этот испещрен многочисленными местами, в которых рисуются в ужасающих красках участь политических преступников и жестокость в отношении их нашего правительства, а главное — высказываются симпатии нигилистическому движению 60-х и 70-х годов». Комитет положил резолюцию: «Запретить и не выдавать» (Рапорты и т. д., заседание 13-е от 3 апреля 1896 г., № 2851).

В 1915 г. вопрос об этом издании был пересмотрен в заседании комитета иностранной цензуры от 25 ноября. Резолюция та же: «Запретить» (там же, № 4387).

В 1908 г. комитет рассматривал в заседании от 20 августа вопрос о допущении в Россию романа Ковалевской «Нигилистка» на чешском языке. Цензор Васнецович-Макаревич представил подробный доклад. Напомнив о докладе гр. Муравьева за 1896 г., цензор писал: «В повести действительно немало мест, где рисуется тяжкая участь политических преступников в России, но мне кажется, что намерением автора было не столько изобразить политическое движение т. н. нигилистов или преследование их правительством, сколько нарисовать тип русской женщины, готовой положить душу свою за идею, не считаясь совсем с последствиями». Далее излагаются мотивы, по которым цензор «затрудняется высказаться за запрещение этой повести, в особенности на чешском языке, недоступном русской публике». В заключение он полагает, что, несмотря на чрезмерную дешевизну книги (15 коп.), «едва ли даже широкое распространение этого томика среди населяющих Россию чехов можно считать сколько-нибудь опасным». Председатель комитета, тот самый граф Муравьев, который в 1896 г. был рядовым цензором, положил резолюцию: «Позволить» (Рапорты и т. д., № 5058).

Вопрос о романе «Нигилистка» на русском языке рассматривается в петербургском цензурном комитете в декабре 1892 г. Суть дела видна из доклада председателя комитета от 19 декабря начальнику главного управления по делам печати. «12 декабря представлена в спб. цензурный комитет бесцензурная книга «Литературных сочинений С. В. Ковалевской» (известной знанием математики и читавшей лекции в университете в Стокгольме). В кратком предисловии к этому изданию высказано сожаление о том, что «независящие обстоятельства» не позволили издателю напечатать два сочинения г-жи Ковалевской, которые изданы были за границей и встречены там с большим сочувствием: «Воспоминания о польском восстании» и «Семейство Воронцовых». Находя неудобным намерение издателя обратить внимание публики на сочинения, недопускаемые к обращению в России, а также и указание на цензурные стеснения, мною предложено было издателю (в лице Сергея Ив. Ламанского) исключить это место из предисловия, что им и исполнено». Комитет обязал типографию уничтожить листок с первоначальным текстом предисловия. Это было исполнено, и предисловие к «Литературным сочинениям» появилось в книге без ссылки на запретные произведения Ковалевской (Дело № 145 за 1892 г., лл. 7—8).

Книга отпечатана в количестве 2000 экземпляров и содержит следующие произведения: 1) «Предисловие», 2) «Воспоминания детства», 3) «Воспоминания о Джорже Эллиоте», 4) «Посмертное стихотворение», 5) «Три дня в крестьянском университете в Швеции», 6) «Vae victis!» (Горе побежденным), 7) «Продолжение», 8) «Письмо в неизвестную

редакцию» (о шведской жизни), 9) «Отрывок из романа, происходящего на Ривьере» (автобиографический).

172 (стр. 155). В печати эта повесть не появлялась: в литературе о ней ничего не известно; в рукописях С. В. не найдено даже черновиков, относящихся к этой теме. Через А. Н. Пыпина Ковалевская была знакома с сыновьями Чернышевского. М. В. Мендельсон сообщает, что Софья Васильевна рассказывала ей, как она убеждала старшего сына великого писателя, Александра Николаевича, посвятить себя изучению математики.

173 (стр. 155). Процесс — в Париже — по обвинению польского революционера Ст. Ал. Подлевского (1856—1891) в убийстве отставного генерала Селиверстова. Последний был помощником шефа жандармов; выйдя в отставку, жил частным лицом в Париже. Здесь, в гостинице, его застрелил в 1890 г. Подлевский. Революционеры считали, что он имеет отношение к провокации жандармского агента Ландезена, устроившего в Париже мастерскую для выделки бомб и погубившего в связи с этим нескольких русских эмигрантов. Мендельсон-Залесская была привлечена к процессу Подлевского: подозревалось ее участие в этом покушении (Новицкий, стр. 197 сл.). Вместе с мужем она была после процесса выслана из Парижа и поселилась в Лондоне.

174 (стр. 155). «Воспоминания» С. В. Ковалевской печатались в №№ 7 и 8 «Вестника Европы» за 1890 г. Отсюда были отдельные оттиски, которые посланы адресатке.

175 (стр. 156). А. В. Корвин-Круковская уехала из Гейдельберга (см. письмо С. В. Ковалевской к Ю. В. Лермонтовой от 16(28) апреля 1869 г., стр. 141 сл.) осенью 1869 г. в Париж, куда стремилась давно. «Анюта поедет во Францию,— писала А. М. Евреинова еще до отъезда Ковалевских из России, — познакомиться и исследовать социальное движение, где в настоящее время появилось много хороших личностей, и движение там всего сильнее, так что поездка ее будет не бесполезна...» «Анна, которой однообразие жизни в Гейдельберге быстро прискучило, отправилась в Париж, не спросив на это у родителей позволения и даже не уведомив их о своем переезде,— сообщает А.-Ш. Леффлер по рассказам Софьи Васильевны и Лермонтовой.— Ей хотелось развить в себе талант писательницы, и потому она не находила никакого интереса в том, чтобы жить взаперти вместе с Софьей в ее студенческой комнате. Ей хотелось изучать жизнь, посещать театры, жить в литературном центре; вырвавшись из-под родительской опеки, она начала смело пробивать себе дорогу. Так как невозможно было сообщить отцу о ее намерении съездить одной в Париж, то она решилась обмануть его, увлекаемая страстным желанием устроить жизнь по-своему... И чем дальше, тем труднее становилось для нее открыть правду родителям». Сблизившись с парижскими революционными кружками, Анна Васильевна познакомилась со своим сверстником, студентом-медиком, французом Виктором Жакларом, и стала жить с ним гражданским браком.

Жаклар, Виктор (1843—1903) — уроженец лотарингского города Меца, из крестьянской семьи. В 1863 г. переехал в Париж и поступил в Высшую медицинскую школу. Студентом увлекся Огюстом Бланки. В конце октября 1865 г. Жаклар участвовал в конгрессе студентов всех европейских университетов в Льеже; исключен за это из университета. 21 января 1866 г. участвовал в манифестации студентов-бланкистов; приговорен к тюремному заключению. По выходе из тюрьмы занимался агитацией среди рабочих. Анна Васильевна посещала вместе с Жакларом рабочие собрания, участвовала в заседаниях революционных кружков. О Жакларе-революционере — в переписке Маркса—Энгельса.

К созданному Наполеоном III процессу в Блуа — 18 июля 1870 г. — по обвинению большой группы революционеров в заговоре против императорской власти был привлечен Жаклар, скрывшийся с женой в Швейцарию. После падения Наполеона Жаклары поехали в Париж через Лион, где при них была провозглашена республика. Виктор Жаклар выступал там на собраниях, был выбран народным комиссаром для сношений с Комитетом общественного спасения, наконец, в качестве члена делегации от Лиона к правительству национальной обороны отправился в Париж и остался там.

Анна Васильевна целиком вошла в политическую жизнь осажденного города. 25 сентября 1870 г. В. О. Ковалевский писал брату, что собирается с женой переехать из Лондона в Париж, так как Софье Васильевне хочется поработать с французскими математиками: «Мы в большом беспокойстве потому, что нет вестей от Анюты; муж ее — делегат Красной Лионской республики; из Парижа вестей нет, а из прусского лагеря — депеши, что в Париже сильная перестрелка и канонада неизвестно между кем». В следующем письме В. О. Ковалевского к брату читаем: «Анюта между тем в Париже, и мы очень тревожимся за ее целость и со страхом ждем приезда осадной артиллерии к Парижу; посмотрим, будут ли бомбы хватать до бульваров». Сообщая в начале 1871 г. брату планы своих научных занятий, В. О. Ковалевский писал: «В моих решениях вопрос о Париже занимает очень важное место, так как необходимо дождаться сдачи его, чтобы ехать выручать Анюту; там мы проживем неделю или дней 10, и осмотреть собрание вымерших позвоночных можно и в этот срок, по крайней мере настолько, чтобы после описания приводить на память уже виденное собственными глазами». И в другом письме: «Нам обоим предстоит еще поездка в Париж; ведь Анюта с своим мужем до сих пор осаждена там; ведь его могли ранить и, пожалуй, убить, и пока Париж в осаде, она получает казенную порцию; после сдачи же в первое время надо будет тотчас помочь ей; мы поэтому должны при первом симптоме, что Трошю желает сдаться, ехать в прусскую главную квартиру и ждать; родные, вероятно, помогут нам тоже. Париж, кажется, продержится еще до 15 февраля; из Парижа Софа и Анюта поедут к родным, а я буду ждать твоего приезда и приеду в Неаполь».

В письме от 30 января, из Берлина, снова о предстоящем отъезде Анюты из Парижа, именно в связи с избранием правительства Коммуны: «В Париже опять идет свалка, и мы очень сомневаемся, не придется ли нам еще катить туда, хотя я думаю, что нет. Коммуна выбрана, и мы ждем Анюту сюда, чтобы вместе с Софою ехать весною в Россию». Но Анна Васильевна из Парижа не выехала. Она делила с мужем опасности осады и голод, а также труды по Коммуне, провозглашенной 22 марта 1871 г.

С 5 апреля до 12 мая Ковалевские, как писал В. О. брату, «жили очень хорошо под Коммуною, а затем, по настоянию Софы, думая, что Париж продержится еще два месяца, уехали в Берлин». А.-Ш. Леффлер передает рассказ Софьи Васильевны о том, как ей с мужем удалось проникнуть в Париж через немецкие лагери: «Они шли пешком, затем ехали лодкою по Сене, под угрозой быть расстрелянными, но, тем не менее, счастливо перебрались на противоположный берег и незамеченными вошли в Париж. Они были там при первом взрыве Коммуны. Софья много лет спустя собиралась описать одну ночь, проведенную ею в госпитале, где она и Анна ухаживали за больными и где они встретились с несколькими молодыми девушками прежнего круга в Петербурге».

Вернувшись в Берлин, Ковалевские с тревогой следили за париж-

скими событиями. Опасения были основательны. В. Жаклар, по проискам врагов Коммуны, был арестован. Сидел долго в тюрьме, был выпущен оттуда 5 января 1871 г., как говорит его биограф, лишь для того, чтобы попасть под суд за участие в восстании 31 октября. 10 марта 1871 г. Жаклар был военным судом оправдан. Анна Васильевна, кроме всего прочего, подверглась еще опасности от специальных преследований агентов царского правительства. Секретарь русского посольства в Париже Обрезков писал управляющему III Отделением графу П. А. Шувалову про Анну Васильевну, как про «мегеру», «достойную супругу некоего Жаклара, отмеченного среди начальников-коммунаров своей кровавой натурой»; она была «замешана в насилиях Коммуны, в арестах и последних неистовствах сопротивления». Тот же Обрезков, по поводу слуха об аресте Анны Васильевны, сообщает, что она «несколько дней спустя после ареста ее мужа перевезена в Версаль, где эта вполне подходящая друг другу пара ждет своей участи; она, вероятно, найдет утешение в своем близком вдовстве в Новой Каледонии, пенитенциарную колонию которой предназначено заселить петрольщицами», т. е. поджигательницами, как буржуазное республиканское правительство называло коммунарок.

Слух об аресте Анны Васильевны оказался неверным, но С. В. и В. О. Ковалевские поехали в Париж на выручку Жаклара. 11 июня Владимир Онуфриевич писал брату из Парижа о положении Жаклара и Анны Васильевны и о своем решении сопровождать мужа Анюты в ссылку. В поисках путей для спасения Жаклара Ковалевские вызвали в Париж генерала Корвин-Круковского. «К 1 июля приехали с той же целью родные из Питера,— пишет Владимир Онуфриевич брату,— и мы живем теперь здесь вчетвером и кое-что успели сделать для облегчения его участи. Рассказов у меня есть для тебя десять томов». Приезд генерала, который был знаком с Тьером, облегчил положение Жаклара. В обширном письме от 9 октября 1871 г., из Франкфурта, Ковалевский сообщает брату об удавшемся бегстве Жаклара, говорит о своих денежных делах, подробно развивает свои научные планы: «В прошлое воскресенье мужу Анюты удалось бежать из тюрьмы, из Версаля; мы его быстро снарядили и выпроводили вон, а затем и сами уехали... Софа с родными поехала в Берлин, а я должен вернуться доканчивать работу в Париж».

Судя по письму А. В. Жаклар к В. О. Ковалевскому, Жаклару удалось бежать под именем Владимира Онуфриевича. Анна Васильевна выжидала в Гейдельберге результатов соединенных усилий всей семьи. Кузина Корвин-Круковских, Софья Аделунг, рассказывает, что мать ее в это время видала Анюту, которая была «так измучена физически и морально, что целых восемь суток находилась в тяжелом сне; пробуждалась она только для принятия пищи и тотчас снова засыпала». Вскоре Жаклар с женой переселились в Швейцарию. В 1874 г. они приехали в Палибино. Анна Васильевна продолжала писать (см. ее письмо к А. Г. Достоевской). В журнале «Северный вестник» напечатаны две ее повести: «Записки спирита» (№ 7 за 1886 г.) и «Фельдшерица» (№ 3 за 1887 г.). В литературно-художественном отношении они уступают двум повестям 1864 г. Появление их в печати можно с известным основанием приписать тому, что «Северный вестник» редактировала ближайшая подруга автора — А. М. Евреинова.

А. В. Жаклар была в это время тяжело больна. В декабре 1886 г. С. В. Ковалевская писала Марии Мендельсон из Петербурга: «Мне так необходимо теперь немного радости, такие грустные дни провожу я теперь у постели бедной Анюты. Состояние ее ухудшается со дня на

день. Она страдает невыразимо. По целым дням и ночам она стонет, и тогда ее не интересует ничто, кроме ее страданий. Таково в настоящее время почти постоянное ее состояние. Тогда и я начинаю желать какой-нибудь развязки, лишь бы скорее прошло». Почти так же писала она А.-Ш. Леффлер: «Моя сестра страшно больна... Трудно представить что-нибудь ужаснее, мучительнее, отвратительнее этой болезни. Она страдает невероятно, не может ни спать, ни дышать». Когда же в состоянии Анны Васильевны наступило некоторое улучшение, Ковалевская вспоминала, «чем сестра была раньше», и «чувствовала величину грозящей потери»: «Зачем же она жила и столько страдала?»

Вскоре Анну Васильевну перевезли в Париж и поместили в больницу. Оттуда она писала в июле С. И. Ламанскому, который заведывал ее петербургскими делами: «Я все собиралась вам писать и не могла потому, что опять сделалось хуже. Здесь в больницах, видно, уж такая судьба, что вас все режут; меня уже два раза резали; первый раз вырезали нарыв под мышкой, а во второй выпускали воду из ног. Лечение не очень изменили и придерживаются главного средства — морфия, от которого уменьшаются спазмы и ночное волнение... Прощайте, милый Сергей Иванович».

12 сентября 1887 г. Анне Васильевне была сделана новая операция — вырезана киста яичника. Сестре сообщили в Стокгольм, что больная поправляется. Но ослабленная Анна Васильевна простудилась, заболела воспалением легких и в конце октября умерла. С. В. Ковалевская писала 2 ноября тетке Аделунг: «Смерть Анюты была для меня страшным ударом, тем более, что мы после операции стали немного надеяться... Бедная Анюта мертва, и ничто не может вернуть ее к жизни... Со смертью сестры порвана последняя нить, связывавшая меня с моим детством». И тогда же говорила А.-Ш. Леффлер-Кайянелло: «Ни для кого больше я не могу быть застенчивою, сдержанною, жмущеюся ко всем маленькою Сонею».

Жаклар женился вторично значительно позже. В архиве Ковалевских сохранился французский пригласительный билет: «Господин доктор Виктор Жаклар и девица Евгения Депре имеют честь сообщить об их браке. Париж, 12 июля 1894 г. Улица Лепик, 55, улица Лафайета, 111». По одним сведениям, В. Жаклар умер в 1903 г., по другим — в 1906 г. О сыне Анны Васильевны, Юрии, ничего не известно.

[176] (стр. 156). Станислав Мендельсон (1857—1913) — участник польского революционного движения. Привлекался к суду в 1879 г., эмигрировал; сидел в прусских тюрьмах; потом действовал в Швейцарии и во Франции. К началу 90-х годов стал праветь, дошел через мелкобуржуазные радикальные группы до лагеря консерваторов и вернулся, с благословения царского правительства, в Варшаву. Здесь примкнул к еврейским националистическим кругам и стал врагом социализма.

[177] (стр. 156). О пребывании Ковалевской в Петербурге см. ее дневник за май 1890 г. (стр. 157 сл.).

[178] (стр. 156). Напечатано в некрологе С. В. Ковалевской в «Харьковских губернских ведомостях» за 1891 г. (№ 30 от 1 февраля). Относится к осени 1890 г. Об этом письме А. С. Шабельская сообщала историку В. И. Семевскому (1848—1916), убеждая его написать биографию Ковалевской — гордости России — и говоря о ее уме, симпатичном облике, верности принципам (письмо от 30 января 1891 г. в «Архиве» В. И. Семевского, в библиотеке б. Комакадемии).

[179] (стр. 156). О математических трудах С. В. Ковалевской писали многие русские и западноевропейские ученые. Знаменитый русский ученый в области прикладной математики, отец советской авиации

Н. Е. Жуковский, пишет: «С. В. Ковалевская прошла школу высокого математического анализа, но самостоятельные работы ее относятся не к одной чистой математике, а главным образом — к прикладным наукам. Она избирала при этом для своего исследования те задачи, решение которых требовало обширного знания трансцедентных функций, и, вполне обладая этим знанием, получила результаты, которые составляют ценный вклад в науку. Первая работа покойной в рассматриваемой области посвящена трудному вопросу астрономии: о форме кольца Сатурна».

Напомнив о работе великого Лапласа по тому же вопросу, Н. Е. Жуковский заявляет: «Анализ Лапласа очень прост и изящен, но он представляет только первое приближение в решении задачи и обладает тем недостатком, что из него не видно, какого порядка члены опущены при приближении. С. В. Ковалевская задалась мыслью исследовать вопрос о равновесии кольца с большею точностью и повести исследование так, чтобы по желанию можно было ограничиваться членами того или другого порядка».

Д. А. Тарасов писал по поводу работы о кольце Сатурна, что Ковалевская «поставила свое имя рядом с именем самого Лапласа, ранее исследовавшего тот же вопрос, но с недостаточною точностью и не дав ему окончательной формы». А. Некрасов пишет, что Ковалевская «дала более строгий метод исследования равновесия кольца, чем это сделал Лаплас, и повела исследование дальше».

«Второю работою С. В. Ковалевской по прикладным наукам,— пишет Н. Е. Жуковский,— является исследование о распространении световой волны в средах двойной преломляемости. Этот вопрос был теоретически разобран Ляме, который привел его к интегрированию уравнений... Решение Ляме, по мнению С. В. Ковалевской, представляет то неудобство, что в нем величины x, y, z становятся неопределенными по направлению оптических осей среды и делаются бесконечно большими в центре колебания. В виду этого она занялась изысканием общего решения уравнений, которое бы позволило выбрать частное решение, не обладающее упомянутыми недостатками...»

А. Некрасов пишет, что Ковалевская, «указав недостатки теории Ляме, дала новый способ решения задачи».

Переходя к работе Ковалевской «О вращении твердого тела», Жуковский подчеркивает, что эта работа «составляет, главным образом, ее ученую славу». «Чтобы яснее выставить на вид, что было прибавлено Ковалевской в решении упомянутой трудной задачи», Жуковский напоминает результаты, достигнутые при исследовании этого вопроса другими учеными. Среди последних были знаменитые математики: Эйлер, Лагранж, Максвелл, Якоби, Сомов, Дарбу и др.

«С. В. Ковалевская в начале своей статьи задается вопросом: «не существует ли еще других случаев движения твердого тела, при которых обстоятельства движения могут быть выражены с помощью функций времени, аналогичных тэта-функциям, т. е. имеющих особые точки только в форме полюсов?» В результате своих изысканий она находит, что подобными функциями может быть разрешен еще один новый случай движения тяжелого твердого тела... Придя к такому заключению, С. В. Ковалевская обращается к задаче о движении твердого тела в упомянутом случае и разрешает ее вполне... Весь успех исследования С. В. Ковалевской в рассматриваемой задаче заключается в прибавлении к известным интегралам живых сил и площадей еще одного нового алгебраического интеграла. Анализ ее для достижения этой цели настолько прост, что, по моему мнению, его следует включить в курсы аналитической механики».

Свой обзор трудов Ковалевской по прикладной математике Н. Е. Жуковский заключает следующим заявлением: «Вопрос о движении твердого тела, разрешенный С. В. Ковалевской, несмотря на его частный характер..., является ценным прибавлением к имеющимся исследованиям о движении твердого тела. Летом 1889 г. я встретил в Париже Пуанкаре, который передавал мне, что С. В. Ковалевская работает над расширением рассмотренного случая и имеет надежду разрешить задачу о движении при центре тяжести, лежащем на плоскости экватора эллипсоида инерции, который есть какой-нибудь эллипсоид вращения. К сожалению, ранняя смерть положила предел всем этим надеждам и лишила нас соотечественницы, которая не мало содействовала прославлению русского имени».

Г. Миттаг-Леффлер, хорошо знавший идею задуманной Софьей Васильевной новой работы, заявляет, что этот труд Ковалевской, по своему заданию и по намеченному пути к его разрешению, мог быть поистине гениальным.

Автор статьи о работах Ковалевской по чистой математике, профессор П. А. Некрасов, заявляет, что «блестящий труд» Софьи Васильевны о движении твердого тела, наряду с практическим, имеет значение и для чистой математики. «Талантливое открытие С. В. Ковалевской,— пишет П. А. Некрасов,— относящееся к примечательному случаю движения твердого тела, не есть только случайная, счастливая находка; напротив того, открытие это есть результат ее настойчивых, упрямых трудов и глубоких знаний в области чистой математики и, особенно, современного анализа. В самом деле, в этом счастливом открытии ее ей помогли как глубокие сведения в анализе бесконечных рядов и интегрирования при помощи их дифференциальных уравнений, так и знания ее по теории ультра-эллиптических и Абелевых интегралов; словом сказать, здесь ей пришла на помощь вся та эрудиция, которая ею обнаружена в трудах ее по чистой математике... С. В. Ковалевская нашла примечательный случай движения твердого тела, именно прибегая к средству, которым она прекрасно владела,— к интегрированию дифференциальных уравнений при помощи рядов».

Такие же отзывы имеются во всех последующих обзорах трудов Софьи Васильевны, вплоть до появившегося недавно в русском издании очерка французского ученого П. Таннери о развитии естествознания в Европе за последние триста лет. Здесь отмечена связь теоретических работ Ковалевской с запросами жизни. «Несмотря на всю абстрактность своих изысканий,— пишет Таннери,— чистая математика все время поддерживала связь с миром реальных явлений. Изыскания эти вызывались к жизни необходимостью найти общие методы решения конкретных задач и потребностью построения физических теорий в гораздо большей степени, чем это принято думать. Софья Ковалевская открыла своей работой новый случай интегрируемости дифференциальных уравнений движения при помощи тета-функций двух независимых переменных и дала замечательный пример приложения новейших аналитических теорий к механике».

«Блестящее и окончательное решение труднейшего из математических вопросов — «О вращении твердого тела...»,— пишет Д. А. Тарасов,— увековечило имя Ковалевской рядом с такими светилами, как Лагранж, Пуансо, Коши, Ляме, Пуанкаре, Эйлер и Лаплас».

Рассматривая труды Ковалевской по чистой математике, профессор П. А. Некрасов пишет о ее первой работе — докторской диссертации. «Прежде всего,— заявляет он,— я должен указать на труд ее по интегрированию уравнений с частными производными. Эта труднейшая из областей чистого математического анализа в то же время играет существенную роль в прикладных математических науках, каковы механика, физика, астрономия. В уменьи интегрировать эти уравнения лежит ключ к разъ-

яснению почти всех тайн природы, обнимаемых этими науками. Вот почему эта область интересовала как величайших чистых математиков, так механиков и физиков».

Указав далее, что Софье Васильевне пришлось в своей работе преодолеть «огромные трудности», П. А. Некрасов пишет о «сложности того анализа, который укладывался в уме С. В. Ковалевской, приводившем в стройную ясность и логическую последовательность обширнейшие формулы и вычисления... С тактом знатока дела С. В. Ковалевская обходит все трудности. Искусный такт ее выражается в ловко придуманной постепенности перехода от более простого к более сложному, в мастерском уменьи свести весьма сложное к менее сложному. В результате С. В. Ковалевская дала теоремам об интегрировании уравнений с частными производными помощию рядов окончательную форму, не оставляющую чего-либо желать по точности выражения и по строгости и простоте доказательства».

Первая работа Ковалевской написана в 1874 г., напечатана в знаменитом журнале Крелля тогда же. Научное значение этого труда высоко ценилось специалистами. В 1891 г. французский профессор Гурза поместил в своем курсе интегральных уравнений подробное извлечение из юношеской работы нашей соотечественницы.

По поводу труда Ковалевской по теории ультра-эллиптических, или Абелевых, интегралов и функций, опубликованного в 1884 г., П. А. Некрасов пишет: «Этот отдел математики также принадлежит к самым сложным частям современного математического анализа. Возникший из трудов гениального норвежского математика Абеля, отдел этот в течение только полустолетия необычайно расширился как по объему литературы, так и по обилию научного материала. Труд С. В. Ковалевской по этому отделу анализа показывает, что и этой областью математики она владела в совершенстве. Изучив литературу, относящуюся к теории преобразований ультра-эллиптических, или Абелевых, интегралов, разобрав весьма сложные общие условия, при которых одни из этих интегралов приводятся к другим, более простым, основываясь главным образом на отчасти неизданных трудах Вейерштрасса, С. В. Ковалевская искусно решает сложный и в то же время тонкий вопрос... Талантливость автора и способность его проникать в сложнейшие соотношения анализа подтверждаются и здесь блестящим образом».

Профессор П. А. Некрасов подчеркивает патриотизм С. В. Ковалевской, ее любовь к родине, интерес к ее научным деятелям и развитию русской науки. Несмотря на то, что по стечению многих обстоятельств деятельность ее сосредоточилась за границей, она стремилась к общению с русскими учеными. «Это доказывается живым участием ее в занятиях VI и VII съездов русских естествоиспытателей и врачей, а также ее сношениями с русскими учеными во время приездов в Россию». В этом Ковалевская проявляла «энергичную настойчивость».

Русский народ всегда гордился Ковалевской. Отечественные ученые широко распространяли сведения о деятельности замечательной русской женщины. К 25-летию кончины Софьи Васильевны известный русский математик, профессор А. В. Васильев, писал: «Ковалевская, несомненно, оставила неизгладимый след в двух областях, занимающих весьма важное место в общей системе математических наук. Эти две области — во-первых, интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов, и, во-вторых, вопрос о движении твердого тела около неподвижной точки».

Коснувшись рассуждений скептиков, «склонных преувеличивать влияние Вейерштрасса и его участие в мемуарах ученицы», профессор Васильев ссылается на письма самого Вейерштрасса. Эти письма представляют «особенный интерес, как признание учителем талантливости и самостоя-

тельности Ковалевской. В одном из писем 1874 г. Вейерштрасс пишет: «Твое замечание об уравнениях с частными производными много объяснило мне в этом вопросе и служило мне побуждением к очень интересным исследованиям. Я желаю, чтобы в будущем моя дорогая ученица этим путем вознаграждала своего учителя и друга».

Работы Софьи Васильевны «по интегрированию системы дифференциальных уравнений с частными производными с помощью степенных строк,— как подчеркивает профессор А. В. Васильев,— распространяют метод, данный Вейерштрассом и примененный им в лекциях к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Но случай, рассмотренный Ковалевскою, значительно общее и труднее, и значение теоремы, доказанной Ковалевскою, характеризуется отношением к ней Пуанкаре в его классической работе о задаче трех тел». Профессор Васильев имеет здесь в виду следующие слова знаменитого французского математика: «Г-жа Ковалевская значительно упростила метод доказательства Коши и дала теоремам окончательную форму» («Acta», т. XIII, стр. 26).

В московском Математическом сборнике и научных изданиях ученых обществ в Петербурге, Киеве, Харькове, Париже, Неаполе, Нью-Йорке и других городах напечатано свыше 50 работ на тему о движении твердого тела вокруг неподвижной точки. В них отмечено большое значение исследования С. В. Ковалевской. Среди этих работ — труды таких математиков, как Н. Е. Жуковский (4 мемуара с 1895 по 1904 г.), В. А. Стеклов, С. А. Чаплыгин (4 мемуара с 1897 по 1903 г.), А. М. Ляпунов, статьи известных французских, итальянских и других ученых.

Советские ученые продолжают развивать идеи С. В. Ковалевской в научно-практическом отношении. В связи с 50-летием присуждения Ковалевской премии за ее «знаменитый мемуар» (Вестник Академии Наук, 1941, № 4, стр. 116 сл.) Отделение технических наук Академии Наук СССР выпустило в 1940 г. «Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской,— «Движение твердого тела вокруг неподвижной точки» (см. Список). В этом сборнике, кроме знаменитых мемуаров Ковалевской, помещены две статьи. Первая принадлежит Г. Г. Аппельроту, который свыше полувека пропагандирует идеи Ковалевской, написал на ее тему несколько книг и много статей. В данной статье — «Не вполне симметричные тяжелые гироскопы» — автор излагает «главнейшие достижения по теории их движения за последние 50 лет». Он излагает приемы, «с помощью которых талантливая исследовательница открыла свой случай», и указывает, что эти приемы могут быть полезны и «в других физически или технически интересных вопросах». В приложении к статье автор дал список 48 работ русских и зарубежных ученых на тему Ковалевской.

Вторая статья принадлежит профессору П. Я. Полубариновой-Кочиной, которая перевела для сборника с французского оба знаменитых мемуара Ковалевской. В своей статье автор напоминает, что исследованиями русских ученых, в том числе А. М. Ляпунова, подтверждена верность сформулированной Ковалевской теоремы и доказана возможность более широкой формулировки ее. «Мемуар Ковалевской внес ряд новых блестящих страниц в историю задачи о вращении твердого тела... Работа Ковалевской дала толчок к ряду исследований, относящихся к отысканию частных решений общей задачи, а также частных решений случая Ковалевской».

В предисловии к сборнику профессор Н. И. Мерцалов напоминает, что задача о вращении была решена Эйлером и Лагранжем «лишь в двух частных случаях». «Как известно,— пишет автор предисловия,— случай Лагранжа получил широкое применение в практике: гироскопами Лагранжа теперь ведутся большие морские суда». Поставив вопрос о том, может ли иметь практическое применение гироскоп Ковалевской, проф. Мерцалов

пишет: «Отвечать теперь на этот вопрос еще рано... Однако именно непериодичность в движении этого гироскопа как раз может оказаться выгодным фактором в деле применения его: в практике имеется ряд случаев, когда именно такая непериодичность требуется, и, может быть, через некоторое время практика потребует указаний возможности применения и гироскопа Ковалевской. К этому нужно готовиться, а готовиться — значит всемерно распространять изучение случая Ковалевской».

180 (стр. 157). Извлечения из «Дневников» С. В. Ковалевской печатаются с подлинников из собрания С. В. Ковалевской; взяты из записных книжек-календарей, миниатюрного формата, в кожаных переплетах с золотым обрезом. Каждый день календаря занимает страницу, на верху которой напечатаны по-французски название месяца и дня (по новому стилю) и имя святого. Исписаны в календарях не все листки; многие записи — карандашом. Есть математические выкладки, много записей хозяйственно-бытового характера, списки книг, необходимых для научных занятий, и т. п. Сокращенные в записях слова дополнены без скобок. Даты и названия дней даю в переводе. Записи 1884 и 1885 гг.— стокгольмские.

181 (стр. 157). 3 февраля Софья Васильевна писала А. О. Ковалевскому: «В настоящую минуту я уже прочитала две лекции, и кажется — порядочно. В первый раз я, разумеется, ужасно трусила. Одну минуту мне вдруг показалось, что у меня подкашиваются ноги и что я не в силах выговорить больше ни единого слова. Но, странное дело, никто из присутствующих даже не заметил этого, и многие говорили мне потом, что даже удивлялись моему спокойствию. Аудитория моя довольно многочисленная: правильных слушателей у меня 19, но, разумеется, на первые лекции пришло много постороннего народу, в особенности много профессоров. Что-то из всего этого выйдет? С виду кажется, будто все относятся ко мне хорошо и доброжелательно, но назначат ли мне на будущий год жалованье, в чем, разумеется, состоит теперь главный вопрос для меня,— этого я еще не знаю».

А.-Ш. Леффлер пишет, что курс лекций, прочитанный С. В. в зиму 1883/84 г. в Стокгольмской высшей школе по-немецки, носил частный характер. Успех лекций создал Ковалевской хорошую репутацию, и Миттаг-Леффлер получил возможность поставить вопрос о приглашении Софьи Васильевны на штатную должность. Несколько лиц (из шведского общества) обязались вносить с этой целью по 500 крон в течение 5 лет, так что для нее составилось жалованье в 4000 крон в год.

182 (стр. 157). О сочинениях С. В. Ковалевской, напечатанных в издававшемся при шведской академии сборнике «Acta mathematica»,— у Г. Миттаг-Леффлера, в его статьях о С. В.

183 (стр. 158). Андрей Андреевич Марков (1856—1922) был избран адъюнктом Академии Наук по чистой математике в декабре 1886 г., экстраординарным академиком — в марте 1890 г. (ординарный — с 1896 г.). Отношение Маркова к научной деятельности Ковалевской выявлено в его заявлениях и письмах к членам Математического общества при Московском университете. Некоторые из них напечатаны в протоколах общества. Там же напечатано несколько писем других математиков по поводу заявлений Маркова. Все эти документы оглашались в заседаниях от 17 и 28 марта, от 21 апреля, от 20 октября, от 17 ноября 1892 г., от 16 февраля, от 20 апреля 1893 г. («Математический сборник», т. 16, вып. 4, стр. 834 сл., 842 сл.; т. 17, вып. 1—4, стр. 383 сл.). В дальнейших протоколах — сообщения Г. Г. Аппельрота, проф. Ф. А. Слудского и других на тему мемуара С. В. Ковалевской.

184 (стр. 158). Отношения С. В. Ковалевской с Российской Академией Наук и другими научными учреждениями на родине и за рубежом скла-

дывались следующим образом. В 1874 г. она вернулась в Россию с докторским дипломом за исследования по математике. Мужчине это давало право работать в университете по своей специальности. Затем он мог защитить магистерскую и докторскую диссертации и занять соответственную кафедру в высшей школе. Женщинам все это было недоступно. Софья Васильевна пыталась преподавать на Высших женских курсах, для учреждения которых она много поработала перед отъездом из России в 1868—1869 гг. и по возвращении — после 1876 г. И это не позволялось. Она имела право быть учительницей по классу начальной арифметики в младших классах женской школы. Но, как говорила с горькой иронией Ковалевская, она сама была слаба в таблице умножения.

Ковалевская забросила математику. Занялась, вместе с мужем, погоней за богатством. Мечтали нажить сотни тысяч, построить здание для высших женских курсов. А тогда сами будут заниматься наукой как свободные люди, не зависящие от казенной службы.

В период своего увлечения строительными операциями и газетной работой Ковалевская встречалась не только с Достоевским. У нее бывал И. С. Тургенев, когда приезжал в Петербург, ее посещали другие деятели литературы и искусства. В. О. Ковалевский старался поддерживать отношения с ученым миром. В гостиной Ковалевских сходились академики и профессора — специалисты различных областей естествознания. Среди них бывали гениальные представители русской науки, люди с мировыми именами: Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров, П. Л. Чебышев и другие. Появлялись москвичи: А. Г. Столетов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский.

Ученик Вейерштрасса, шведский математик Г. Миттаг-Леффлер, был в это время профессором Гельсингфоргсского университета. Проездом через Петербург, он посещал Ковалевскую, оживлял ее воспоминаниями о работе с их общим учителем. Беседы с ним и Чебышевым, переписка с Вейерштрассом вернули Софью Васильевну к математическим интересам.

В декабре 1879 г. состоялся в Петербурге VI съезд русских естествоиспытателей и врачей, на котором присутствовало свыше 1400 человек. Чебышев советовал Ковалевской выступить на съезде с докладом. Из работ, за которые Ковалевской в 1874 г. присуждена докторская степень, было тогда же напечатано исследование о дифференциальных уравнениях. Работа об Абелевских функциях оставалась в рукописи. Чебышев ознакомился с нею, признал изложенные в ней мысли оригинальными.

С. В. Ковалевская сделала в секции математики и астрономии доклад «о тех случаях, когда некоторые Абелевские интегралы высшего порядка, а именно третьего, могут быть приведены к эллиптическим интегралам путем рационального преобразования второй степени» (А. В. Погожев, стр. 209).

На секции были доклады П. Л. Чебышева, Н. Е. Жуковского, А. Н. Коркина, Н. Я. Цинглера, Г. Миттаг-Леффлера, А. А. Маркова и многих других. Участие в ней принимали академики, профессора всех русских университетов и специальных высших учебных заведений. Доклад Ковалевской был признан интересным, заслужил одобрение слушателей.

Ковалевская вернулась к науке. «Стоит мне только коснуться математики,— говорила она,— я опять забуду все на свете».

Вскоре после съезда Ковалевские поселились в Москве. В университете был поднят вопрос об избрании Владимира Онуфриевича доцентом по кафедре геологии. Софья Васильевна была избрана членом математического общества при университете. Она пыталась включиться в работу высшей школы. «Я, было, подала прошение в университет о допущении меня к магистерскому экзамену,— писала она А. О. Ковалевскому в середине 1880 г.— но Бабухин и Снегирев пристали к Володе, чтобы я взяла

прошение обратно, ибо в университете существует весьма сильная партия ненавистников женского вопроса, которых рассуждения обо мне могут восстановить и против Володи, что значительно повредит вопросу о его избрании. Хотя Бугаев и утверждает, что это все вздор, но я все-таки не желаю итти на риск и решилась магистерство отложить. Но так как без магистерства мое пребывание в Москве в отсутствии Володи становится совершенным абсурдом, то я решилась пойти на некоторую издержку, но зато уже употребить это время с большей пользой для себя и для моих занятий, т. е. поехать на 2—3 месяца в Берлин, к Вейерштрассу».

В другом письме к А. О. Ковалевскому Софья Васильевна говорит о том же: «Володя уехал за границу... Он, конечно, писал вам, что его избрание в университет становится чрезвычайно вероятным и что он сам этому чрезвычайно доволен, так как надеется комбинировать служение геологии со служением маммоне... Что до меня касается, то мои дела идут далеко не столь блестящим образом; несмотря на то, что и профессор Давидов и ректор Тихонравов лично обращались к министру с просьбою допустить меня к магистерскому экзамену, но министр решительно отказал и даже одному моему знакомому, д-ру Покровскому, тоже имевшему случай говорить с министром, выразил так, что и я, и дочка моя успеем состариться прежде, чем женщин будут допускать к университету. Каково? Кто бы мог ожидать подобного от столь либерального молодого человека, как наш Сабуров? Для меня это вдвойне досадно, потому что никогда мне не было бы так удобно держать экзамен, как именно теперь. За лето я успела подготовиться так, что могла бы приступить к экзамену хоть сейчас, тем более что здешние математики все относятся ко мне очень сочувственно, требования ставят самые законные, да и мою (ненапечатанную еще) работу, извлечение из которой я сообщала нынешнею зимою на съезде, признают совершенно годною для магистерской диссертации. Ну что ж делать! В виду того, что мне теперь особенно важно наготовить как можно больше математических работ, чтобы хоть этим поддержать нашу женскую репутацию, я решаюсь на довольно тяжелый для меня риск, а именно — собираюсь уехать на месяц или полтора в Берлин, а дочку мою оставить здесь на попечении Юли Лермонтовой». О попытке Миттаг-Леффлера привлечь С. В. Ковалевскую в 1880 г. к доцентуре в Гельсингфорсе см. примеч. 153-е (стр. 186).

Потерпев неудачу в Москве, Ковалевская уехала за границу. Встречалась с знаменитыми западноевропейскими математиками. Французские ученые тщетно пытались устроить ей профессуру на Высших женских курсах в Севре, близ Парижа. Софья Васильевна продолжала свои научные исследования. Принимала участие в жизни международной демократии (см. письма за 1882—1883 гг., стр. 148 сл.).

В апреле 1883 г. трагически погиб в Москве В. О. Ковалевский. Жена его была в это время в Париже. Смерть мужа потрясла Софью Васильевну. Оправившись, она поехала в Россию. Приняла меры к установлению невиновности Владимира Онуфриевича в уголовных делах нефтяной компании, где он был директором. Затем поехала в Одессу, где во второй половине августа 1883 г. состоялся VII съезд русских естествоиспытателей и врачей.

22 августа Ковалевская сделала на съезде сообщение на тему «Об интегрировании дифференциальных уравнений с частными производными, определяющих преломление света в прозрачной кристаллической среде». В заседании 20 августа она была избрана председательницей математической секции.

Из Одессы Софья Васильевна сообщила 28 августа Миттаг-Леффлеру,

что окончила одну из двух работ, которыми была занята последние два года. В ответ на просьбу Миттаг-Леффлера приехать поскорее в Стокгольм, чтобы начать чтение частного курса в университете, писала: «Я не нахожу выражений, чтобы достаточно сильно высказать, как я благодарна Вам за Вашу всегдашнюю доброту ко мне и как счастлива, получив возможность выступить на ту дорогу, которая всегда составляла мою излюбленную мечту...

Я глубоко благодарна Стокгольмскому университету за то, что он так любезно открыл передо мною свои двери, и готова всей душою полюбить Стокгольм и Швецию, как родную страну. Я надеюсь долгие годы прожить в Швеции и найти в ней новую родину. Но именно поэтому мне хотелось бы не приезжать к Вам, пока я не буду считать себя вполне заслуживающею хорошего мнения, которое Вы обо мне составили». В ноябре 1883 г. Ковалевская была уже в Стокгольме. В январе 1884 г. начала читать лекции (см. письмо к Лаврову, стр. 149 сл., и примечания к нему, стр. 187 сл.; см. извлечения из «Дневника» за 1884 г., стр. 157).

В 1888 г. Ковалевская представила в Парижскую Академию наук на конкурс работу о движении твердого тела вокруг неподвижной точки (см. выше — «Автобиографический рассказ», стр. 148). Всего поступило на конкурс 15 работ. Комиссия Академии признала, что сочинение под девизом «Говори, что знаешь: делай, что обязан; будь, чему быть» является «замечательным трудом, который содержит открытие нового случая»; что «автор не удовольствовался прибавлением результата еще большего интереса к тем, которые перешли к нам по этому предмету от Эйлера и Лагранжа»; что он «сделал из своего открытия углубленное исследование с применением всех возможностей современной теории функций»; что способ автора решить задачу с применением «тета-функций с двумя самостоятельными переменными позволяет дать полное решение в самой точной и наиболее изящной форме». В виду этого комиссия предложила присудить автору полную премию, увеличив ее с трех до пяти тысяч франков. По вскрытии конверта с девизом оказалось, что автор премированной работы — Софья Ковалевская.

24 декабря 1888 г. состоялось торжественное чрезвычайно многолюдное заседание Парижской Академии наук с участием С. В. Ковалевской, которой после ряда хвалебных речей вручили премию. «Я сидел,— сообщает М. М. Ковалевский в статье «Действенный феминизм»,— в ложе, отведенной ей в зале торжественных собраний французского института, и слышал те громкие приветствия, какими сопровождалось провозглашение непременным секретарем Академии ее имени в числе лауреатов института».

Спустя год после этого триумфа Ковалевской шведская Академия наук присудила ей за новую работу на ту же тему премию в 1500 крон. Имя русской женщины было известно всему культурному миру. Очерки и рассказы Ковалевской печатались в самых распространенных изданиях России и за рубежом. Они знакомили западных читателей с русской жизнью, с литературой и писателями России. Статьи о Ковалевской печатались во всех русских и зарубежных газетах и журналах.

Отечественные математики во главе с гениальным П. Л. Чебышевым решили привлечь С. В. Ковалевскую к научной работе в России. В правительственных кругах вопрос был поднят генералом А. И. Косичем (см. стр. 205 сл.). Как человек, занимающий видное положение в высшей администрации, Косич обратился с письмом к президенту Академии наук, великому князю Константину Константиновичу (поэту К. Р.). Он просил президента содействовать возвращению Софьи Васильевны в Россию в качестве члена Академии. Генерал напомнил великому князю изречение На-

полеона, что «всякое государство должно дорожить возвращением выдающихся людей более, нежели завоеванием богатого города».

По приказанию великого князя непременный секретарь Академии К. С. Веселовский послал Косичу 11 октября 1889 г. следующий ответ: «Софья Васильевна Ковалевская, приобревшая за границею громкую известность своими научными работами, пользуется не меньшею известностью и между нашими математиками. Блестящие успехи нашей соотечественницы за границею тем более лестны для нас, что они всецело должны быть приписаны ее высоким достоинствам, так как там национальные чувства не могли служить для усиления энтузиазма в пользу ее. Особенно лестно для нас то, что г-жа Ковалевская получила место профессора математики в Стокгольмском университете. Предоставление университетской кафедры женщине могло состояться только при особо высоком и совершенно исключительном мнении об ее способностях и знаниях, а г-жа Ковалевская вполне оправдала такое мнение своими, поистине, замечательными лекциями».

После этого можно было ждать заявления о привлечении Ковалевской в Академию. Но Веселовский, по приказу великого князя, писал: «Так как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места столь же почетного и хорошо оплачиваемого, как то, которое она занимает в Стокгольме. Место преподавателя математики на Высших женских курсах гораздо ниже университетской кафедры; в других же наших учебных заведениях, где женщины могут быть учителями, преподавание математики ограничивается одними элементарными частями».

Однако Ковалевская, как пишет Д. А. Тарасов, имела горячих сторонников в лице таких русских ученых, как Чебышев, Жуковский, Буняковский, Столетов, Имшенецкий. Академические математики поспешили загладить поступок президента. Через несколько дней после ответа великого князя Косичу поступило в Физико-математическое отделение Академии Наук следующее заявление: «Нижеподписавшиеся имеют честь предложить к избранию членом-корреспондентом Академии, в разряд Математических наук, доктора математики, профессора Стокгольмского университета Софью Васильевну Ковалевскую. П. Чебышев, В. Имшенецкий, В. Буняковский». 24 октября это заявление было прочитано в заседании отделения. Решено было произвести баллотировку в следующем заседании. Оно состоялось 7 ноября. При баллотировке шарами С. В. Ковалевская получила 14 белых и 3 черных. Решено было представить результаты на утверждение Общего собрания.

Но еще до этого избрания — 4 ноября — непременный секретарь Академии, академик К. С. Веселовский, «довел до сведения Общего собрания, что в одно из Отделений Академии было внесено представление об избрании в число членов-корреспондентов Академии русской женщины, приобревшей себе своими трудами громкую известность в ученом свете не только в России, но и за границею. Имея в виду, что до сих пор еще не было примера избрания в члены-корреспонденты лиц женского пола и что избрание таких лиц по одному какому-либо разряду наук установило бы собою пример, на основании которого могли бы быть предлагаемы такие лица и по другим разрядам наук, Отделение признало, что вопрос о допущении таких избраний затрагивает интересы всех трех Отделений, и по сим соображениям положило общий вопрос о допущении лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты представить на разрешение Общего собрания конференции. По обсуждении этого предмета и произведенной затем баллотировке шарами общий вопрос о допущении

лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты разрешен в утвердительном смысле 20-ю утвердительными шарами против 6-ти отрицательных» (Протокол общего собрания от 4 ноября 1889 г.).

Повидимому, Чебышев был уверен в таком решении поднятого Веселовским вопроса. На другой день после заседания Отделения, 8-го ноября, он послал Ковалевской в Стокгольм следующую телеграмму: «Наша Академия Наук только что избрала вас членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента. Я очень счастлив видеть исполненным одно из моих самых пламенных и обоснованных желаний. Чебышев» (подлинник — по-французски).

Софья Васильевна писала по этому поводу А. И. Косичу: «Вы можете себе представить, как я была обрадована этой телеграммой. Итак, ваши хлопоты не пропали даром и повели к результату. Большое и сердечное вам за них спасибо. Конечно, член-корреспондент — не более как почетный титул и не дает мне возможности вернуться в Россию, но я все же очень рада, что они решились сделать меня и этим, так как теперь, если откроется вакансия на место действительного академика, у них уже не будет предлога не выбрать меня только на том основании, что я женщина».

Дело об утверждении Ковалевской в звании члена-корреспондента было передано в Общее собрание. В заседании 2 декабря Общее собрание утвердило избрание Ковалевской, постановило провозгласить об этом в торжественном публичном заседании Академии Наук 29 декабря и послать новому сочлену диплом.

Получив это извещение, Софья Васильевна послала Академии, через К. С. Веселовского, благодарность: «Милостивый государь Константин Степанович! По причине моего отсутствия из Стокгольма, диплом на звание члена-корреспондента С.-Петербургской Академии Наук, посланный мне 12 января нынешнего года, лишь сегодня мог быть доставлен мне. Позвольте мне, милостивый государь, попросить Вас взять на себя труд выразить Академии мою глубокую и сердечную признательность за ту высокую честь, которой она удостоила меня, избрав меня своим членом-корреспондентом. Этот привет из дорогого мне отечества глубоко тронул и осчастливил меня». Письмо, посланное 11—23 февраля 1890 г., получено в Академии лишь 5—17 марта.

Меньше чем через год Академия лишилась своего члена-корреспондента. В протоколе заседания Физико-математического отделения от 30 января 1891 г. записано: «Доведено до сведения Отделения об утрате, понесенной Академией в лице ее члена-корреспондента по разряду математических наук, профессора Стокгольмского университета Софьи Васильевны Ковалевской, скончавшейся 29 сего месяца в Стокгольме». Вслед за тем от Академии Наук была послана в Стокгольм следующая телеграмма: «Ректору университета, Миттаг-Леффлер. Академия Наук искренне оплакивает невозвратимую утрату своего знаменитого корреспондента. Августейший президент благодарит вас за сообщение. Вице-президент Грот».

В Общем собрании Академии Наук 29 декабря 1891 г. было сообщено: «Со списка членов-корреспондентов исчез ряд лиц, прославившихся в летописях европейской науки: 1. По разряду математическому — Софья Васильевна Ковалевская (вдова талантливого палеонтолога, покойного профессора Вл. Он. Ковалевского), скончавшаяся в Стокгольме 29 января 1891 г. в возрасте 40 лет. Софья Васильевна, известная в публике, главным образом, своими интересными литературными воспоминаниями о Ф. М. Достоевском, была одною из немногих русских женщин, достигших трудом и дарованиями веского авторитета на математическом поприще. Ее исследования о движении твердого тела доставили ей пре-

мию Парижской Академии и профессорскую кафедру в Стокгольме. Дальнейшие работы широко распахнули перед нею двери в нашу Академию» («Записки Академии Наук», том 68 за 1892 г., стр. 3).

Этим закончились отношения Академии Наук к С. В. Ковалевской при царизме. Об отношении к ней Академии Наук СССР, издавшей в честь знаменитой русской женщины специальный сборник и выпустившей в русском переводе главные научные труды Ковалевской,— см. выше (стр. 281).

Что касается отношений Ковалевской и Чебышева, то, кроме изложенного выше, они состояли в следующем. Проведя в 1889 г. в академических кругах вопрос об избрании Ковалевской, гениальный математик представил непременному секретарю записку о ней. Здесь Чебышев, между прочим, писал: «Более 20 лет тому назад обращалась ко мне Софья Васильевна (не бывшая еще в замужестве) за советом о занятиях математикой. Все случившееся с нею после того мне хорошо известно». По поводу присуждения Ковалевской премии Парижской Академии Чебышев заявляет: «Ковалевская была допущена в залу заседания в обыкновенное собрание Академии, и это было сделано в противность уставу Академии единственно в виду ее ученых заслуг. При этом она была введена в залу заседания непременным секретарем, известным математиком Бертраном. В настоящее время г-жа Ковалевская занимает и очень важное, и очень почетное место в Стокгольме, состоя профессором тамошнего университета. Такое место едва ли она согласится переменить на место профессора математики Высших курсов, единственное, которое для нас доступно по ныне действующим уставам учебных заведений и где есть кафедра высшей математики» («Архив Академии Наук СССР», фонд 2, оп. 1-я, 1889 г., № 7, лл. 2—3).

Как член редакционного комитета издававшегося при шведской Академии сборника «Acta mathematica», С. В. Ковалевская привлекала П. Л. Чебышева к участию в этом международном научном сборнике. В 9-м томе «Acta» была напечатана по-французски в переводе Ковалевской статья Чебышева «О представлении предельных величин интегралов посредством интегральных вычетов». Там же помещена небольшая статья Чебышева «О суммах, составленных из коэффициентов ряда с положительными членами. Письмо, адресованное г-же Софье Ковалевской». Во вступительной части статьи Чебышев писал: «Я весьма обрадован честью, которую Вы мне оказали, пожелав перевести мою заметку о предельных величинах интегралов. Интерес, с которым Вы отнеслись к моим исследованиям по этому предмету, побуждает меня сообщить Вам один результат, который я только что извлек из них, относительно определения пределов». Статья датирована: «С.-Петербург. 20 сентября (2 октября) 1886».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПРАВКИ

Литература и материалы, использованные при составлении книги (кроме упомянутых в тексте).

РУКОПИСИ

Переписка С. В., В. О. и А. О. Ковалевских и других лиц: в семейном архиве Софьи Владимировны Ковалевской; в «Архиве Академии Наук СССР»: фонд № 103 — М. М. Ковалевского и разряд IV — переписка семьи Ковалевских. Дело об избрании С. В. Ковалевской в Академию Наук — «Архив Академии Наук СССР», фонд II, опись 1-я; в рукописном отделе Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве — комната 40-х годов, фонд А. Г. Достоевской и фонд В. А. Гольцева; Малевич И. И.— Неизданная статья об С. В. Ковалевской,— архив М. И. Семевского в Пушкинском доме Академии Наук СССР; в Музее имени И. И. Мечникова при Бактериологическом институте в Москве; воспоминания проф. И. М. Гревса и акад. С. Ф. Ольденбурга о Жакларах (рукописи в моем собрании).

АРХИВНЫЕ ДЕЛА

Комитет иностранной цензуры № 48 за 1892 г.— в Ленингр. отд. Центр. Историч. архива (ЛОЦИА) — о шведском издании книги С. В. Ковалевской «Вера Воронцова», где помещены роман «Нигилистка», воспоминания о польском восстании и статья о М. Е. Салтыкове; того же комитета № 13 за 1896 г.— в ЛОЦИА — о немецком издании «Нигилистки» С. В. Ковалевской; того же комитета № 33 за 1908 г.— в ЛОЦИА — о чешском издании «Нигилистки»; того же комитета № 4387 за 1915 г.— в ЛОЦИА — о немецком издании «Нигилистки».

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Ковалевская С. В.— 1. Задача о вращении твердого тела около неподвижной точки. 2. Об одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющей вращение твердого тела около неподвижной точки. Перевод П. Я. Полубариновой-Кочиной. В книге «Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской», Изд-во Академии Наук СССР. М.— Л. 1940, стр. 11—58. Списки математических сочинений Ковалевской у Миттаг-Леффлера в т. 16-м — см. ниже; в «Русской старине», 1890, № 11, стр. 581—583; у

Д. Д. Языкова — Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц, вып. XI, Спб. 1909, стр. 70—71.

Ковалевская С. В.— Литературные сочинения, Пб. 1893, 320 стр. Напечатанные здесь «Воспоминания детства» были раньше опубликованы, в другой редакции, в шведской книге: «Sonja Kovalevsky — Ur Ryska lifvet. Sistrarna Rajevski. Stockholm. 1889». Кроме того, «Воспоминания детства» были в разное время изданы в переводе с русского текста или с их авторской шведской переработки — на немецком, французском, английском (в Англии и Америке), польском, датском и других языках.

Ковалевская С. В.— Нигилистка, роман, Харьков, 1928.

Ковалевская С. В. и А.-Ш. Леффлер.— Борьба за счастье, драма, Киев, 1892.

Ковалевская С. В. (Софья Нирон).— В больницах Шаритэ и Сальпетриер. «Русские ведомости», 1888, № 297 и 301, от 28 октября и 1 ноября.

Ковалевская С. В.— М. Е. Салтыков (Щедрин). «Литературное наследство», вып. 13—14, М. 1934, стр. 545—552. Статья С. В. Ковалевской о М. Е. Салтыкове, по указаниям, найденным мною после русской публикации ее, была напечатана по-шведски в газете «Dagblad» в конце 80-х гг. и в книге С. В.— «Вера Воронцова», Стокгольм, 1892.

В «Новом времени» за 1876 и 1877 гг. есть ряд статей С. В. Ковалевской (за подписью С. К.) о театре и на темы научно-популярные; из них отмечу статьи в №№ от 10 и 17 ноября, 14 и 19 декабря 1876 г., 10 марта, 4 апреля, 5 мая и 21 июля 1877 г.

В различных литературных источниках, преимущественно шведских, имеются указания, без точных библиографических данных, на юношескую повесть С. В. Ковалевской «Приват-доцент», появившуюся за границей.

Adelung Sophie.— Jugenderinnerungen an Sophie Kovalewsky. «Deutsche Rundschau», Bd. 89, 1896, December, ss. 394—425 (с письмами С. В. Ковалевской).

Аппельрот Г. Г. Простейшие случаи движения тяжелого несимметричного гироскопа С. В. Ковалевской. Часть I, М. 1910, 73 стр.

То же, часть II, М. 1911, 4 + 83 стр.

Его же.— Не вполне симметричные тяжелые гироскопы. В книге «Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской», Изд-во Академии Наук СССР, М.— Л. 1940, стр. 61—155.

Ариан П. Н.— Первый женский календарь: на 1900 г. (С. В. Ковалевская), на 1901 г. (Н. П. Суслова), на 1905 г. (А. М. Евреинова), на 1908 г. (Н. П. Суслова).

«Архив Академии Наук СССР» — обозрение архивных материалов, под ред. Г. А. Князева, при участии Л. Б. Модзалевского, Лен. 1933.

Бельчиков Н. Ф.— Достоевский в процессе петрашевцев. М.—Л. 1936.

Борисяк А. А.— В. О. Ковалевский, его жизнь и научные труды. Изд-во Академии Наук СССР, Лен. 1928, 134 стр.

Его же.— Вл. Ковалевский и его наследие. «Природа», 1942, № 7—8, стр. 124 сл.

«Борьба за науку в царской России». Редакция С. Я. Штрайха, предисловие Н. А. Семашко, М., 1931.

Б. Брюллов.— Встреча с Ф. М. Достоевским. «Начала», № 2, П. 1922.

Bunsen M.— Sonja Kowalevsky. Eine biographische Skizze.

«Illustr. d. Monatshefte», 1897, Mai, Bd. 82, ss. 218—232 (с письмами С. В. Ковалевской). Ср. «Русские ведомости», 1897, 30 мая.

Васильев А. В.— Памяти С. В. Ковалевской, «Речь», 1916, 29 января.

Его же.— Роль Вейерштрасса в современном развитии математики. Каз. 1885, 18 стр.

Weierstrass K.— Briefe an Paul du-Bois-Rejmond. «Acta mathematica», т. 39, 1923, стр. 199—225.

Его же.— Briefe an L. Fuchs. Там же, стр. 246—256.

Витковский В. В.— Пережитое. Вып. II, Лен. 1928 (стр. 122—126 — об С. В. Ковалевской на кафедре в Стокгольме).

Волынский А. Л.— Литературные заметки, «Северный вестник», 1890, № 10, стр. 156 сл., и 1891, № 3, стр. 147 сл.

Гаршин В. М.— Соч., т. III, М. 1934.

Гроссман Л. П.— Жизненный путь Достоевского. Соч., т. II, в. 1-й, М. 1928 (гл. VI — Подруги Достоевского).

Его же.— Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.— Л. 1935.

Давиташвили Л. Ш.— Развитие идей и методов в палеонтологии после Дарвина. Изд-во Академии Наук СССР, М.— Л. 1940 (гл. 6-я и 33-я — о Ковалевском).

Его же.— Курс палеонтологии. М.— Л. 1941.

«Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Сборник, посвященный памяти С. В. Ковалевской». Изд-во Академии Наук СССР, М.— Л. 1940, 186 стр. Содержание: Проф. Н. И. Мерцалов — Предисловие. М. Мерцалова — Софья Васильевна Ковалевская, биографический очерк. С. В. Ковалевская — Задача и т. д. — см. выше. Г. Г. Аппельрот — см. выше. П. Я. Полубаринова — Кочина — см. ниже. 2 портрета Ковалевской. 6 чертежей.

Добролюбов Н. А.— Полн. собр. соч., под ред. П. И. Лебедева-Полянского, т. VI, Стихотворения и проч., под ред. Б. П. Козьмина, М. 1939.

Достоевская А. Г.— Воспоминания, ред. Л. П. Гроссмана, М.— Л. 1925.

Достоевский Ф. М.— Письма, ред. А. С. Долинина, тт. I, II, М.— Л. 1928—1930.

Его же.— Письма к жене, ред. Н. Ф. Бельчикова, М. 1926.

Жуковский Н. Е.— О трудах С. В. Ковалевской по прикладной математике. В сб. «С. В. Ковалевская», М. 1891, стр. 19—31; то же в Полн. собр. соч. Жуковского, т. IX, стр. 299—310.

Его же.— Геометрическая интерпретация рассмотренного С. В. Ковалевской случая движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки (1896 г.) в Сочинениях, т. 1, М.— Л. 1937, стр. 384—427 (здесь ссылки на статьи других ученых по поводу мемуара Ковалевской; на стр. 428 перечень четырех сообщений Жуковского на ту же тему — в 1892, 1894, 1895, 1904 гг.; на стр. 429—432 изложение статьи Жуковского на английском языке).

Его же.— Механика в Московском университете за последнее 50-летие. Соч., т. IX, стр. 203 сл. (личные воспоминания о Ковалевской, оценка ее математических работ; ср. там же, стр. 184).

Ивановский Н. П.— История Военно-медицинской академии за 120 лет. П. 1898.

Kampfmeyer P.— Georg von Vollmar. München, 1930 (с письмами С. В. Ковалевской).

Клейн Ф.— Лекции о развитии математики в XIX ст., перевод А. Лопшица, Л. Тумермана и др.. М. 1937.

Книжник-Ветров Ив.— А. В. Корвин-Круковская (Жаклар), М. 1931.

Книжник-Ветров Ив.— Виктор Жаклар — деятель Парижской Коммуны, 1871 г. и русский журналист. «Проблемы марксизма», 1930, № 5—6, стр. 161 сл.

Ковалевский Е. П.— Черты из жизни М. М. Ковалевского, по семейным и личным воспоминаниям. Сб. «М. М. Ковалевский...», Петр. 1917.

Ковалевский М. М.— Действенный феминизм, «Биржевые ведомости», 1916, 1 и 2 марта; его речи о Ковалевской — «Русские ведомости», 1916, 29 и 30 января.

Комарович В. Л.— Неизданная глава романа «Бесы», «Былое», 1922, № 18.

Корвин-Круковский Ф. В.— Воспоминания. «Русская старина», 1891, № 9, стр. 623 сл.

Кускова Е. Д.— Софья Васильевна Ковалевская, «Русские ведомости», 1916, 29 января (с письмами С. В. Ковалевской).

Ее же.— С. В. Ковалевская и ее время. «Голос минувшего», 1916, №№ 2—4 (с письмами С. В. Ковалевской).

Кэй Эллен.— С. В. Ковалевская. Перевод с шведского. Рукопись в собрании С. Вл. Ковалевской (статья напечатана в шведских и датских журналах в 1891 г.).

Лавров П. Л.— Русская развитая женщина. В память С. В. Ковалевской (прочитано на собрании 6 апреля 1891 г. в Париже). Женева, 16 стр. (1891).

Лафарг П.— Письмо Марксу от 1.VIII 1871. Сб. «Письма деятелей I Интернационала в дни Коммуны 1871 г.» М. 1933 (о Жакларах).

Лермонтова Ю. В.— Воспоминания об С. В. Ковалевской. Рукопись в собрании С. Вл. Ковалевской.

Лествицын В.— Отъезд А. М. Евреиновой (с ее автобиографическим сообщением). «Ярославские губернские ведомости» № 74 от 18 сентября 1880 г.

Леффлер А.—Ш.— Софья Ковалевская, воспоминания, перевод М. Лучицкой. Пб. 1893 (с письмами С. В. Ковалевской).

Leche-Löfgren Mia.— Vera för äldrars värld (Мир наших родителей), Stockholm 1934.

Linder Gurli — Sallskapslivi Stokholm 1880 och 1890-talen (Общественная жизнь Стокгольма в 1880—1890 гг.). Стокгольм 1918 (о Ковалевской среди стокгольмской интеллигенции).

Литвинова Е. Ф.— С. В. Ковалевская, ее жизнь и научная деятельность. Пб. 1893.

Литвинова Е. Ф. (Е. Ель).— Из времени моего студенчества. Знакомство с С. В. Ковалевской. «Женское дело», 1899, № 4, стр. 34 сл.

Лихачева Е. О.— Материалы для истории женского образования в России 1856—1880, т. IV, Пб. 1901.

Малевич И. И.— Воспоминания. «Русская старина», 1890, № 12, стр. 615 сл.

Маркс и Энгельс.— Переписка. Соч., тт. 24, 26, 27, 28 (по указателям — о Жакларах, об М. Ковалевском). См. также «Архив Маркса-Энгельса», т. II, 1932, стр. 28.

Математический сборник, издаваемый Московским математическим обществом, тт. XVI—XXI, М. 1891 сл.

Mendelsonowa Marya.— Wspomnenia o Zofii Kowalewskiej. Krakow. 1911, 127 стр. (с письмами С. В. Ковалевской).

Мендельсон-Залесская М.— Воспоминания о Софье Ковалев-

ской. «Современный мир», 1912, № 2, стр. 134 сл. (с письмами С. В. Ковалевской).

Мечников И. И.— Этюды оптимизма. Изд. 4-е, М. 1917 (стр. 200 сл.— об С. В. Ковалевской).

Миллер О. Ф.— Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского, в сб. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», Спб. 1883 г.

Милюков А. П.— Литературные встречи и знакомства. Спб. 1890.

Mittag-Leffler G. Sophie Kovalevsky. Notice biographique (Софья Ковалевская, биографическая заметка). «Acta mathematica», t. 16, 1892—1893, стр. 385—392.

Его же.— Weierstrasse et Sonja Kowalewsky. «Acta mathematica», t. 39, 1923, стр. 133—198 (с письмами С. В. Ковалевской).

Нансен П.— Герман Банг. Годы скитаний. Вена 1924 (на нем. яз.; письмо Банга о встрече с Ковалевской).

Некрасов А.— С. В. Ковалевская, Энциклопедический словарь т-ва Гранат, т. 24.

Некрасов П. А.— О трудах С. В. Ковалевской по чистой математике. В сб. «С. В. Ковалевская», М. 1891, стр. 35—55 (его другие статьи — в Списке при Сборнике памяти Ковалевской, 1940).

Новицкий В. Д.— Из воспоминаний жандарма, ред. П. Е. Щеголева. Лен. 1929.

«Памятник С. В. Ковалевской». «Новое время», 1896, № 7408 от 11 октября и № 1900 от 15 сентября.

Пантелеев Л. Ф.— Памяти С. В. Ковалевской, «Речь», 1916, 29.I.

Его же. Из жизни С. В. Ковалевской. «Бирж. ведомости», 1916, 29.I.

Его же. Из воспоминаний прошлого, ред. С. А. Рейсера, М. 1934.

Пименова Э. К.— Дни минувшие. Л. 1928.

Погожев А. В.— 25-летие естественнонаучных съездов в России. 1861—1886. М. 1887.

Покровский К. Д.— Женщины-астрономы и их работы. II. 1897, 19 стр. (то же. «Историч. вестник». 1897, № 6, стр. 779).

Полубаринова-Кочина П. Я.— Об однозначных решениях и алгебраических интегралах задачи о вращении тяжелого твердого тела около неподвижной точки. В сб. «Движение твердого тела...», 1940, стр. 157—186.

Протоколы VII съезда русских естествоиспытателей и врачей с 18 по 28 августа 1883 г. Од. 1883.

Речи и протоколы VI съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге с 20 по 30 декабря 1879 г. Спб. 1880.

Руссьян Ц. К.— С. В. Ковалевская (к 25-летию со дня смерти). «Сообщения Харьковского математического общества», т. XV, вып. 2.

Сватиков С. Г.— Опальная профессура 80-х годов. «Голос минувшего», 1917, № 2.

Семевский М. И.— Поездка по России. «Русская старина», 1890, № 12, стр. 713 сл.

Сеченов И. М.— Автобиографические записки. М. 1907.

Simon-Eskardt H.— Sophie Kovalevsky. «Jahrb. f. Kult. u. Gesch. d. Slaven» Bd VI, f. II и III, 1930, стр. 239—254 (с письмами Ковалевской, с отзывом Кронекера о большом научном значении математических работ Ковалевской).

Сонин Н. Я.— Заметка по поводу письма П. Л. Чебышева к С. В. Ковалевской. «Изв. Академии Наук», т. II, 1895, № 1, стр. 18 сл.

Столетов А. Г.— С. В. Ковалевская, биографический очерк. В сб.

«С. В. Ковалевская», М. 1891, стр. 7—16; то же в Сочинениях Столетова, т. II, М. 1941, стр. 259—266.

Его же. Русская женщина-математик С. В. Ковалевская. «Наука и жизнь», 1891, № 23, май, стр. 353—356.

Сыромятников С. Н. (Сигма).— Драма знаменитой женщины, «Новое время», 1895, 21 апреля.

Таннери Поль — Исторический очерк развития естествознания в Европе, под ред. С. Ф. Васильева, М. 1934, стр. 223.

Тарасов Д. А.— Профессор С. В. Ковалевская. «Русские ведомости», № 1901 от 30 января.

Тимирязев К. А.— Соч., М. 1937 сл., тт. VII, VIII, IX по указателям.

Толстой Л. Н.— Переписка с Н. Н. Страховым. Ред. Б. Л. Модзалевского, 1870—1894, Спб. 1914.

Чебышев П. Л.— О представлении предельных величин интегралов посредством интегральных вычетов. Перевод с русского (из «Записок Академии Наук», 1885, т. 51, № 4) на французский язык С. В. Ковалевской. «Acta mathematica», т. 9, 1887, стр. 35—56.

Его же.— О суммах, составленных из коэффициентов рядов с положительными членами. Письмо к С. В. Ковалевской от 20 сентября 1886 г. Перевод с русского С. В. Ковалевской. «Acta mathematica», т. 9, 1887, стр. 182—184. Ср. Соч. П. Л. Чебышева, т. I, 1899, стр. 733—735; т. II, 1907, стр. 421—440.

Штрайх С. Я.— Сестры Корвин-Круковские. М. 1933; 2-е изд., М. 1934.

Его же.— Достоевский и сестры Корвин-Круковские. «Красная новь», 1931, № 7, стр. 144 сл.

Его же.— Русская нигилистка в Парижской Коммуне. «Молодая гвардия», 1931, № 5—6, стр. 114 сл. и отдельно, расширено: М. 1935, 48 стр. (об А. В. Корвин-Круковской-Жаклар).

Его же — Героиня романа «Что делать?» в ее письмах. Сб. «Звенья», вып. III—IV, стр. 588 сл.

Его же.— С. В. Ковалевская о М. Е. Салтыкове. «Литературное наследство», вып. 13—14, стр. 543 сл.

Его же.— С. Ковалевская, М. 1935, 237 стр.

Его же.— Гениальный русский палеонтолог В. О. Ковалевский. «Успехи современной биологии», 1943, т. 16-й, вып. 1-й, стр. 87—102; то же — «Новый мир», 1943, № 1-й, стр. 118—123; то же — «Наука и жизнь», 1942, № 10, стр. 39—42.

Его же.— Из переписки братьев Ковалевских. «Советская наука», 1940, № 7, стр. 99—120.

Эфрос Н. Е.— С. Ковалевская — драматург. «Русские ведомости», 1916, 2 февраля.

«С. В. Ковалевская, биографический очерк». «Книжки Недели», 1891, № 7, стр. 117—124.

То же.— «Новое время», 1891, № 5374 от 13 февраля (при вскрытии тела Ковалевской найдено, что мозг ее богат извилинами и высоко развит).

Не указаны, здесь и в тексте, Энциклопедические словари и другие справочные издания.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель не включены встречающиеся в тексте имена, не имеющие исторического значения; из примечаний не включены имена, не связанные с текстом или с биографией С. В. Ковалевской и ее ближайших родных. В указателе даются в точном начертании фамилии лиц, названных в тексте неправильно.

Абель, Нильс (1802—1829), норвежский математик. 127, 203.

Аделунг, Софья, двоюродная сестра С. В. Ковалевской. 151—152, 188, 199.

Александр II (1818—1881), русский император. 192.

Александр III (1845—1894), русский император. 170, 188, 191—192.

Александра Федоровна (1798—1860), жена Николая I. 160.

Алексей Филиппович, семинарист. 69—71.

Андерсон, Г.-Х. (1805—1875), датский писатель. 133.

Аппельрот, Г. Г., математик. 204—205.

Бабухин, Ал-др. Ив. (1835—1891), профессор эмбриологии в Москве. 206.

Белинский, Висс, Григ. (1810—1848). 111—112, 163—164, 172.

Белоголовый, Ник. Ал-др. (1834—1895), врач, общественный деятель. 137—138, 183.

Бер, Поль (1833—1886), франц. физиолог. 43, 160.

Бернар, Клод (1813—1878), франц. физиолог. 44, 160.

Бетховен, Людвиг (1770—1827), композитор. 99.

Бисмарк, Отто (1815—1898), германский государственный деятель. 43.

Блок, Ал-др Ал-др. (1880—1921). 163.

Боков, Петр Ив. (1835—1915), врач, участник революц. движения 60-х гг. 137—138, 180—181.

Бокова, см. М. А. Сеченова.

Брантинг, К. (1860—1925), шведский политический деятель. 191.

Брэм, А. (1829—1884), натуралист. 144—146, 179.

Брюллов, Ал-др Петр. (1798—1877), профессор архитектуры. 160.

Брюллова, Ал-дра Ал-др. (1810—1885), рожд. Ралль, тетка С. В. Ковалевской. 160.

Бугаев, Ник. Вас. (1837—1903), профессор математики в Москве. 207.

Булгарин, Фад. Вен. (1789—1859), журналист. 171.

Бульвер-Литтон, Э.-Д. (1803—1873), англ. писатель. 64, 162.

Бунзен, Р. (1811—1899), физик. 143, 185.

Буняковский, Викт. Як. (1804—1889), математик, академик. 209.

Бургер, профессор. 115.

Бурдон, П.-Л. (1779—1854), франц. математик. 125.

Буташевич-Петрашевский, Мих. Вас. (1821—1866), основатель первого русского социалистического кружка. 113—114, 172.
Бутлеров, Ал-др. Мих. (1828—1886), химик, академик. 184, 206.

Варминг, Е. (1841—?), профессор ботаники в Стокгольме. 157.
Васильев, Ал-др Вас. (1853—?), профессор математики в Казани. 203—204.
Вейерштрасс, К. (1815—1897), математик. 121, 126—127, 129, 176—178, 186, 203—204, 206—207.
Венгеров, Сем. Аф. (1855—1920), историк литературы. 175.
Верочка, см. Ковалевская В. А.
Веселовский, Конст. Степ. (1819—1901), статистик, академик. 209—210.
Виктор, см. В. Жаклар.

Гамбаров, Юрий Степ. (1850—?), профессор гражданского права в Москве. 192.
Гамель, датский коммерсант. 152.
Гейне, Генрих (1798—1856), поэт. 162—163.
Гельмгольц, Герман (1821—1894), естествоиспытатель. 44, 121, 143, 160.
Гермит, см. Эрмит.
Герцен, Ал-др Ив. (1812—1870). 71, 113, 163, 172, 179, 183—184.
Гильдебранд, Г. О. (1842—?), шведский археолог. 191.
Глинские, моск. бояре. 159.
Гоголь, Ник. Вас. (1809—1852). 109—112, 171—172.
Гончаров, Ив. Ал-др. (1812—1891). 113, 172.
Гончарова, Вера Серг. (1850—?), племянница жены А. С. Пушкина. 116, 173—174.
Грибоедов, Ал-др Серг. (1795-1829). 109.
Григорович, Дм. Вас. (1822—1899), писатель. 111—112.
Григорьев, Ник. Петр. (1822—1886), участник кружка Петрашевского. 114, 172.
Гроссман, Леонид Петр., писатель. 4, 174.
Гурза, Е.-Ж. (1858—?), франц. математик. 203.
Гюльден, Г. (1841—1896), профессор астрономии в Стокгольме. 191.

Давидов Авг. Юл. (1823—1885), профессор математики в Москве. 207.
Дарбу, Г. (1842—1917), франц. математик. 201.
Дарвин, Чарлз (1809—1882). 179, 185.
Диккенс, Ч. (1812—1870), англ. писатель. 182.
Добролюбов, Ник. Ал-др. (1836—1861). 81, 163, 165.
Достоевская, Анна Григ. (1846—1918), рожд. Сниткина. 105, 116, 118—120, 168, 170, 173, 176, 199.
Достоевская, Мария Дм. (?—1864), рожд. Исаева. 164.
Достоевский, Мих. Мих. (1820—1864), журналист. 164.
Достоевский, Федор Мих. (1821—1881). 4, 71, 77—79, 81—82, 85, 87—106, 109—120, 163—176, 183, 206, 210.
Дуров, Сергей Фед. (1816—1869), участник кружка Петрашевского. 173.
Дю-Буа-Реймон, П. (1831—1889), профессор математики в Гейдельберге. 121.

Евдокимов, Вас. Як. (1839—1917?), участник общественного движения 60-х гг. 144, 185.
Евреинова, Анна Мих., Жанна (1844—1919), первая русская женщина-юрист. 135, 138—139, 164, 168, 179—182, 184, 197, 199.
Евреинова, Ольга Мих., Оленька. 140.

Жаклар, А. В., см. А. В. Корвин-Круковская.
Жаклар, Виктор (1843—1903), франц. революционер, русский журналист. 155—156, 169—170, 176, 197—200.
Жаклар, Юрий (род. 1873—?), племянник С. В. Ковалевской. 155—156, 200.
Жанна, см. А. М. Евреинова.
Жорж-Занд, литературный псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876); франц. писательница. 164, 182.
Жуковский, Вас. Андр. (1782—1852). 34, 164.
Жуковский, Ник. Егор. (1847—1921), математик, «отец советской авиации». 201—202, 204, 206, 209.

Зайцев, Варф. Ал-др. (1842—1882), публицист, участник революц. движения 60-х гг. 163.

Имшенецкий, Вас. Григ. (1832—1892), математик, академик. 158, 209.
Иоанн, Гуниад (1400—1456), правитель Венгрии. 159.
Искандер, см. А. И. Герцен.

Катков, Мих. Никиф. (1818—1887), журналист. 163.
Кей, Элл. (1849—1926), шведская писательница. 191, 194.
Кенигсбергер, профессор математики в Гейдельберге. 121.
Кирхгоф, Г. (1824—1887), физик. 121, 141—142.
Клевенский, Митр. Мих. (1877—1939), историк литературы и общественного движения. 195.
Книпович, Евг., писательница. 163.
Князев, Георгий Ал-вич. 4.
Ковалевская, Вера Ал-др. (1870—1928), по мужу Чистович. 145.
Ковалевская, Софья Вл., дочь С. В. Ковалевской. 4, 151—152, 195, 207.
Ковалевская, Тат. Кир. (1845—1913), рожд. Семенова. 145, 147.
Ковалевский, Ал-др Он. (1840—1901), зоолог, основатель сравнительной эмбриологии; академик. 3, 143—147, 178—179, 184—185, 198—199, 205—207.
Ковалевский, Влад. Он. (1842—1883), зоолог, основатель эволюционной палеонтологии; муж С. В. Ковалевской. 3, 118, 121, 126—127, 135—136, 138—139, 141—146, 148, 163, 175, 178—180, 182—185, 198—199, 206—207, 210.
Ковалевский, Макс. Макс. (1851—1916), историк, общественный деятель. 152—154, 166, 189—195, 208.
Козлов, Ник. Иллар. (1814—1889), начальник Военно-медиц. академии. 141.
Козьмин, Бор. Павл., историк. 182, 184.
Комарович, В. Л., литературовед. 167.
Кони, Анат. Фед. (1844—1927), государственный деятель, писатель. 116, 174.
Константин Константинович (Романов; 1858—1915), поэт; президент Академии наук. 208—209.
Копп, Г. (1817—1893), профессор химии в Гейдельберге. 121, 142.
Корвин, Матвей (1443—1490), венгерский король (с 1458 г.). 61, 159.
Корвин-Круковская, Анна Вас. (1843—1887), по мужу Жаклар, сестра С. В. Ковалевской. 4, 8—15, 17, 29—31, 34, 40, 44, 52, 58—106, 116, 119—120, 135—139, 145, 161—162, 164—166, 168—170, 176, 178, 183—185, 197—200.
Корвин-Круковская, Анна Вас., тетка С. В. Ковалевской. 46—47.
Корвин-Круковская, Елиз. Фед. (1820?—1879), рожд. Шуберт, мать С. В. Ковалевской.

10—13, 26, 30, 40—41, 43—44, 46, 51—52, 66, 82—85, 87—89, 92—95, 121, 136, 145, 159, 166, 168—169.

Корвин-Круковская, Марфа Вас., тетка С. В. Ковалевской 46.

Корвин-Круковская, Над. Андр., рожд. *Н.*, тетка С. В. Ковалевской. 45—49.

Корвин-Круковский, Вас. Вас. (1799?—1875), отец С. В. Ковалевской. 8, 13, 16, 23—26, 29, 36—40, 46, 59—60, 69—70, 72, 74, 79, 82—85, 87, 89, 121, 124, 133, 159, 166, 169, 179, 184, 199.

Корвин-Круковский, Ив. Мих., предок С. В. Ковалевской. 159.

Корвин-Круковский, Петр. Вас., дядя С. В. Ковалевской. 42—50, 123, 125, 138, 160, 177—178.

Корвин-Круковский, Фед. Вас. (1855—1920?), брат С. В. Ковалевской. 8, 11, 13, 31, 40, 53, 75, 177.

Косич (Косыч), Андр. Ив. (1833—?), военный деятель, писатель. 94—95, 167—168, 208—210.

Косич (Косыч, Косач), Ел. Ант. (1848—?), участница революц. движения. 167.

Котляревский, Нест. Ал-др. (1863—1925), историк литературы; академик. 195.

Кохманский, П. В. издатель. 195.

Коши, Авг. (1789—1857), франц. математик. 202, 204.

Коштоянц, Х. С., физиолог; академик. 183.

Крелле, А.—Л. (1780—1855), математик, основатель журнала. 127, 203.

Круковская, Юл. Ос. (1850—?), участница революц. движения. 167.

Кузьмина, Домна Никитишна, экономка в доме Корвин-Круковских. 77, 81—82.

Кукольник, Нестор Вас. (1809—1868), писатель. 110, 171.

Кунце, автор учебника. 144.

Лавров, Петр. Лавр. (1823—1900), ученый; участник революц. движения. 149—150, 155, 187—188, 208.

Лагранж, Ж. (1736—1813), франц. математик. 131, 201—202, 204, 208.

Ламанский, Серг. Ив. (1841—1901), физик. 185, 196, 200.

Ламе, Ляме, Г. (1795—1870), франц. физик. 128, 201—202.

Ланге, профессор физики в Вене. 141.

Лаплас, П. (1749—1827), франц. математик. 201—202.

Лекке, шведский профессор. 157.

Ленин, Вл. Ил. (1870—1924). 186, 189.

Лермонтов, Мих. Юр. (1814—1841). 35, 111, 164, 184.

Лермонтова, Юл. Всев. (1847—1919). 139—143, 147, 176, 181, 183—184. 197, 207.

Леффлер, см. Г. Миттаг-Леффлер.

Леффлер, А.-Ш., в замужестве Эдгрен (1849—1892), шведская писательница. 150—154, 177, 188—189, 195, 197—198, 200, 205.

Леффлер, Иог. 190.

Линдгаген, Д.-Г. (1819—?), шведский астроном. 157.

Лихачев, Вл. Ив. (1837—1906), судебный и общественный деятель. 175.

Луцкий, Вл. Вл. (1854—?), участник революц. движения 70-х гг. 150.

Ляйэлль, Ч. (1797—1875). 179, 185.

Ляпунов, Ал-др Мих. (1857—1918), математик; академик. 204.

М., см. М. М. Ковалевский.

Майков, Ап. Ник. (1821—1897). 169.

Максвелл, Дж.-К. (1831—1879), физик. 201.

Малевич, Иос. Игн. (1813—?), учитель С. В. Ковалевской. 30, 124—125, 162, 177.
Марков, Андрей Андр. (1856—1922), математик; академик. 158, 187, 205—206.
Маркс, Карл (1818—1883). 186—187, 189, 194, 197.
Марья Александровна, см. М. А. Сеченова.
Марья Васильевна, швея в доме Корвин-Круковских. 16—28, 56.
Менделеев, Дм. Ив. (1834-1907). 206.
Мендельсон, Мар. Вик. (1850—1909), рожд. Залесская, польская революционерка. 154—156, 161—162, 174, 186—188, 190, 194, 197, 199—200.
Мендельсон, Стан. (1857—1913), участник польского революц. движения. 156, 194, 200.
Мерцалов, Н. И., профессор математики в Москве. 204.
Милле, франц. дипломат. 154.
Миллер, Ор. Фед. (1833—1880), профессор истории русской литературы в Петербурге. 166, 172.
Милюков, Ал-др Петр. (1817—1897), историк литературы. 166.
Милютин, Дм. Ал-вич (1816—1912), военный деятель, писатель. 167.
Миттаг-Леффлер, Г. (1846—1927), шведский математик. 129, 149, 157, 176, 178, 186—188, 191—192, 202, 205—208, 210.
Модзалевский, Лев Бор., писатель. 4.
Момбелли, Ник. Ал-др. (1823—1902), участник кружка Петрашевского. 114, 173.
Монтелиус, Г.-О. (1843—1915), шведский археолог. 191.
Муравьев, Мих. Ник. (1796—1866), военный и административный деятель. 161.
Мюссе, Альфр. (1810—1857), франц. поэт. 153.
Н., см. Нансен, Фрит.
Нансен, Фрит. (1861—1930), ученый, полярный путешественник. 152, 189.
Наполеон I (1769—1821). 161, 208—209.
Наполеон III (1808—1873), французский император. 43, 160, 198.
Наранович, Пав. Андр. (1801—1874), начальник Медико-хирургической академии. 141.
Некрасов, А. 201.
Некрасов, Ник. Ал-вич (1821—1878). 35, 111—112, 163—164, 171—172, 175, 183.
Некрасов, Пав. Ал-вич (1853—?), профессор математики в Москве. 202—203.
Нечаев, Серг. Генн. (1847—1882), революционер. 181.
Никитин, Ив. Савв. (1824—1861), поэт. 179.
Никитина, Варв. Ник. (1842—1884), писательница, участница обществ.-политического движения. 150.
Николай Павлович (1796—1855), русский император. 110, 160—161, 172, 184.
Норденшильд, А. Р. (1832—1901), натуралист-путешественник. 191.

Обручев, Вл. Ал-др. (1836—1912), участник революц. движения 60-х гг., писатель. 186.
Обручев, Ник. Ник. (1830—1904), военный деятель; участник революц. движения 60-х гг.; почетный член Академии Наук. 186.
Оленька, см. О. М. Евреинова.
Орбелов, Юрий, литературный псевдоним А. В. Корвин-Круковской. 79.
Оскар II (1829—1907), шведский король. 132, 188.
Остен-Сакен, Фед. Ром. (1832—?), натуралист-путешественник и государственный деятель, почетный член Академии Наук. 160.
Островский, Ал-др Ник. (1823—1886). 111, 172, 194.

Остроградский, Мих. Вас. (1801—1861), математик; академик. 50, 124.

Павловский, Ис. Як (1852—?), Павлович, участник революц. движения. 116, 173—174.
Пари, Гастон, франц. писатель. (1839—?). 154.
Паскаль, Бл. (1623—1662), франц. математик и философ. 126.
Петр Иванович, см. П. И. Боков.
Петрашевский, Мих. Вас., см. М. В. Буташевич-Петрашевский.
Пикар, Эм. (1856—?), франц. математик, 128.
Писарев, Дм. Ив. (1840—1868). 163.
Плеханов, Георгий Вал. (1856—1918). 189.
Подлевский, Ст. Ал. (1856—1891), участник революц. движения 80-х гг. 197.
Покровский, доктор. 207.
Полубаринова-Кочина, Пол. Як., профессор математики в Москве. 204.
Пуанкаре, А. (1854—1912), франц. математик. 128, 202, 204.
Пуансо, Л. (1777—1859), франц. математик. 202.
Пуассон, С.-Д. (1781—?), франц. математик. 131.
Пушкин, Ал-др Серг. (1799—1837). 35, 97, 109—111, 116, 161, 163—164, 171.
Пушкина, Нат. Ник. (1812—1863), рожд. Гончарова. 116, 173.
Пыпин, Ал-др Ник. (1833—1904), историк литературы; академик. 181, 197.

Ралль, Ал-др А., петерб. банкир. 159.
Ростопчина, Евд. Петр. (1811—1858), рожд. Сушкова, поэтесса. 79, 164—165.

Сабуров, Андр. Ал-др. (1837—1916), министр просвещения. 207.
Салтыков, Мих. Евгр., Щедрин (1826—1889). 111, 163, 172, 175, 183.
Сватиков, Серг. Григ., историк. 184.
Семевский, Вас. Ив. (1848—1916), историк. 200.
Семевский, Мих. Ив. (1837—1892), писатель, журналист. 132—133, 162, 168, 177—179.
Сенковская Ад. Ал-др., рожд. Ралль, тетка С. В. Ковалевской. 159.
Сенковский, Осип Ив. (1800—1858), журналист. 110, 159, 171.
Сеченов, Иван Мих. (1829—1905). 69, 137—138, 147, 180—183, 206.
Сеченова, Мария Ал-др. (1839—1929), рожд. Обручева. 135, 137—138, 180—181, 183. 186.
Слудский, Федор Ал-вич (1841—1897), профессор математики в Москве. 205.
Смит, Марг. Франц., гувернантка в доме Корвин-Круковских. 29—40, 44, 46, 48, 59, 72—76, 133, 160, 178.
Снегирев, Влад. Фед. (1847—1916), профессор акушерства в Москве. 206.
Сомов, Осип Ив. (1815—1876), математик; академик. 201.
Стеклов, Влад. Андр. (1863—1926), математик; академик. 204.
Столетов, Ал-др Григ. (1839—1896), профессор физики в Москве. 206, 209.
Страннолюбский, Ал-др Ник. (1839—1903), математик, педагог. 50, 124, 126, 138, 160—161, 178.
Страхов, Ник. Ник. (1828—1896), писатель. 175.
Суворин, Ал-сей Серг. (1834—1912), публицист. 118, 175.
Суслова, Ап. Прок. (1840—1918). 164, 182—183.
Суслова, Над. Прок. (1843—

1918), первая русская женщина-врач. 137, 180, 182.

Талейран, Ш.-М. (1754—1838), франц. дипломат. 157.
Таннери, П. (1843—?), франц. математик. 202.
Таня, см. Т. К. Ковалевская.
Тарасов, Д. А., математик. 201—202, 209.
Тимирязев, Кл. Арк. (1843—1920). 185, 189, 206.
Тихонравов, Ник. Савв. (1832—1893), историк русской литературы; академик. 207.
Ткачев, Петр Никитич (1844—1886), публицист, участник революц. движения 60-х гг. 135—136, 181—182.
Толстой, Лев Ник. (1828—1910). 111, 172, 175—176.
Томас, авантюрист-изобретатель. 117, 174.
Тургенев, Ив. Серг. (1818—1883). 111, 113, 162—163, 171—172, 175—176, 206.
Тыртов, Ник. Никан. профессор физики в Морском корпусе. 125.

Филонов, Андр. Григ. (1831—?), педагог. 35.
Философова, Анна Павл. (1837—1912), рожд. Дягилева, общественная деятельница. 170.
Фогт, Карл (1817—1895), зоолог 139, 179, 183.
Фольмар, Г. (1850—1922), нем. социал-демократ. 147—149, 186.
Фома Кемпийский (1379—147 ., монах; писатель. 65, 163.
Фонвизин, Денис Ив. (1745—1792). 160.
Фридрейх, Ник. (1825—1882), профессор медицины в Гейдельберге. 141—142.
Фукс, Л. (1833—1902), профессор математики в Геттингене. 176.
Фурье, Ш. (1772—1837), социалист-утопист. 113—114.

Христос, Иисус Христос. 19, 62, 65, 137.

Чаплыгин, Серг. Ал-вич (1869—1942), математик; академик. 204.
Чебышев, Пафн. Льв. (1821—1894), математик; академик. 158, 206, 208—211.
Чернышевский, Ал-др. Ник. (1854—1915). 197.
Чернышевский, Ник. Гавр. (1828—1889). 150, 155, 163, 180—181, 186, 188, 197.
Чуковский, Корней Ив., писатель. 171.

Шабельская псевдоним Ал. Ст. Монтвид (1845—?). писательница. 156, 200.
Шапошников, Петр Григ. (1821—?), участник кружка Петрашевского. 173.
Шуберт, Вильг. Фед. (1792—1877), тетка С. В. Ковалевской. 175.
Шуберт, Софья Ал-др. (1801—1833), рожд. Ралль, бабка С. В. Ковалевской. 159.
Шуберт, Фед. Ив. (1758—1825), математик; академик; прадед С. В. Ковалевской. 150, 161, 174—175.
Шуберт, Фед. Фед. (1789—1865), математик, военный деятель; академик; дед С. В. Ковалевской. 159, 161.
Шуберт, Фед. Фед. (1831—1877), дядя С. В. Ковалевской. 51, 57, 136, 161, 166.
Шуберт, Фред. Фед. (1794—1876), тетка С. В. Ковалевской. 175.
Шуберты, родственники С. В. Ковалевской. 94.

Щапов, Аф. Прок. (1830—1876), историк; участник революц. движения. 163.
Щедрин, см. М. Е. Салтыков.

Эдгрен, см. А.-Ш. Леффлер.

Эйлер, Л. (1707—1783), математик; академик. 131, 201, 202, 204, 208.
Элиот, Дж., литературный псевдоним М. Эванс (1819—1880), англ. писательница. 182, 196.
Элпилин, Мих. Конст. (1835?—1908), участник революц. движения 60-х гг. 195.
Энгельс, Фр. (1820—1895). 186—187, 190, 194, 197.
Эрисман, Фед. Фед. (1842—1915), профессор гигиены в Москве, обществ. деятель. 175, 182.
Эрмит, Ш. (1822—?), франц. математик. 128, 149.
Эрмит, жена математика. 149.

Юрик, см. Ю. Жаклар.

Якоби, К.-Г. (1804—1851), математик. 127, 201.
Янович, Людвиг (1858—1902), польский революционер. 162.
Яун, Ян. Фр. (1778—1852). 139, 183.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. С. В. Ковалевская с фотографии 1887 г.
2. С. В. Ковалевская с фотографии 1888 г.
3. В. О. Ковалевский с фотографии конца 60-х гг.
4. Автограф письма С. В. Ковалевской к А. О. Ковалевскому. Дата рукой В. О. Ковалевского.
5. Стихотворение С. В. Ковалевской (чистовой автограф).
6. Стихотворение С. В. Ковалевской (черновой автограф).

0180200

БИБЛИОТЕКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От редактора 3

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

1. Первые воспоминания 7
2. [Марья Васильевна] 16
3. [Мисс Смит] 29
4. Жизнь в деревне 32
5. Мой дядя Петр Васильевич 42
6. Дядя Федор Федорович Шуберт 51
7. Моя сестра 58
8. [Нигилизм Анюты] 67
9. Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты 74
10. Знакомство с Ф. М. Достоевским 87

ПРИЛОЖЕНИЯ:

I. К рассказу о Достоевском 109
II. Письма С. В. Ковалевской и А. В. Жаклар к Ф. М. Достоевскому и его жене 116
III. Автобиографические очерки 121
IV. Письма С. В. Ковалевской к разным лицам . 135
V. Из дневников 157

Примечания 159
Литературные справки 212
Указатель имен 218
Список иллюстраций 226

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского
Совета АН СССР за № 2262

Редактор Издательства
Е. С. Лихтенштейн
Технический редактор
Е. Г. Доскач

Подписано к печати 12/VII 1945 г. А19963
Объем 14,25 п. л. + 6 вкл. Уч.-изд. л. 19
Тираж 10 000. Цена 16 руб. + 4 руб. переп.
Зак. 198

2-я типография издательства
Академии Наук СССР,
Москва, Шубинский, д. 10.

P. [illegible]

Свердлов
бібліотека
кн. № 116
дата